

10.335/
1971/2



Литературная

СЛУЖБА

12

1971



საქართველოს
საქართველოს



Захарий Палиашвили. Скульптура работы М. Бердзенишвили, установленная в Тбилиси к 100-летию со дня рождения композитора.

Литературная

ГРУЗИЯ



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

12

ОРГАН
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
ГРУЗИИ

ДЕКАБРЬ

1971



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

41.425





საქართველოს საზოგადოებრივი განათლების კავშირის ორგანო

Главный редактор

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

Редакционная

коллегия:

Григол АБАШИДЗЕ,

Тенгиз БУАЧИДЗЕ,

Марк ЗЛАТКИН,

Лавросий КАЛАНДАДЗЕ,

Натела КАРАШВИЛИ

(ответственный секретарь),

Серго КЛДИАШВИЛИ,

Георгий МАЗУРИН

(и. о. зам. главного редактора),

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,

Владимир МАЧАВАРИАНИ,

Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,

Георгий ХУЦИШВИЛИ,

Эммануил ФЕЙГИН,

Алеко ШЕНГЕЛИА.

Год издания пятнадцатый

Рукописи объемом
менее авторского листа
не возвращаются

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ

КАРЛО КАЛАДЗЕ. Думы. Поэма. Перевод Михаила Синельникова	5
ТЕЙМУРАЗ ДЖАНГУЛАШВИЛИ. Сулхан-Саба. Стихи. Перевод Георгия Мазурина	8
НИКОЛАЙ БРАУН. Так пройти по следам... Стихи	9

ПРОЗА

ГРИГОЛ ЧИКОВАНИ. Февраль. Повесть. Авторизованный перевод Эммануила Фейгина	11
АКАКИЙ ГЕЦАДЗЕ. Святые в аду. Повесть. Окончание. Перевод Камиллы Коринтэли	16
ДАВИД КВИЦАРИДЗЕ. Леван Кахиани. Роман. Окончание. Авторизованный перевод О. Волкова	33
ГИВИ ГОГИЧАЙШВИЛИ. Маленькие рассказы. Переводы Майи Бирюковой	37

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ШАЛВА РАДИАНИ. Георгий Леонидзе	42
ПЕТРЭ ШАРИЯ. К одному из коренных вопросов мировоззрения Руставели	47

ИСКУССТВО

ВАХТАНГ ЧЕЛИДЗЕ. Захарий Палиашвили	59
-------------------------------------	----

КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ПАВЛЕ ИНГОРОКВА. Шота Руставели (1166—1250)	62
---	----

**К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО**

МИХАИЛ ЗАВЕРИН. Внимая гулам эпохи 78

**К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Н. А. НЕКРАСОВА**

ГЕОРГИИ ЦИЦИШВИЛИ. Некрасов и грузинская об-
щественность 84

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

ВАСИЛИИ ЛАПЕРАШВИЛИ. Здесь жил Сергей Есенин 91

СРЕДИ КНИГ

НИКОЛАЙ СОРОКИН. Образ героя гражданской войны
Киквидзе в зарубежном романе 92

**СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУ-
ЗИЯ» за 1971 год 93**

ДУМЫ

П О Э М А

*Всегда и везде, о Грузия,
Я с тобой...
Илья Чавчавадзе*

Я день за днем припоминаю дни,
Протекшие быстрее, чем мгновенья.
Равны тысячелетиям они.

И не одно свое сердцебиенье
Хотел бы я внести в свою тетрадь,
Но всей великой жизни дуновенье.

Но как бы мог я Время записать?
Оно бежит, как луч в незримой призме...
К истоку возвращаюсь я опять.

И точно так же, как на утре жизни,
Ты, родина, живешь в мечтах и снах,
И думы посвящаю я отчизне.

Здесь пять десятилетий на весах.
И полувек, огромный, как поэма,
Встает стеной в строительных лесах.

Высокая и радостная тема!
И отблеском зари озарена
Серебряных нагорий диадема.

Заря отчизны издали видна,
Когда чужие земли и пороги
Мне прошлые напомнят времена...

И предо мной скалистых гор отроги,
Базальт, и кварц, и мрамор, и порфир.
И тянутся турецкие дороги.

И вот я открываю новый мир.
Так что ж всего чудесней на чужбине?
Не Анкара, не Бурса, не Измир

И не Пергама древняя святыня...
Но в Турули — грузинские сады!?
У мелкой речки пенистой и синей.

И вот в горах гремит из темноты
Бушующий разгул водоворота,
Простой напев кочующей воды.

И мельница стоит у поворота.
Родная песнь бурлит в моей крови,
И жернова, вращаясь, шепчут что-то.

О, родина моя, благослови
И этот хлеб, хранящий привкус горя...
Здесь на чужбине сыновья твои.

Вас разделили годы, горы, море,
Но думы их все так же о тебе,
Песнь об отчизне льется на просторе.

* * *

С чего начать? Да с самого начала!
Пожалуй, что его не обойти...
Сквозная синева обозначала
Начало многодневного пути.

Москва. Асфальт. В руках цветы апреля.
Над головою облако. Светло.
А сердце ждет и бьется еле-еле.
Бесшумно зажигается табло.

Мы, как деревья, выйдя на дорогу,
Задумчивою чередой стоим...
А новый день проходит понемногу,
И мы проститься не успеем с ним.

Большая панорама небосклона
Огромным замком облачным плывет.
И, как таран бойницу бастиона,
Высокий трап штурмует самолет.

И видно мне, как за окном толпятся,
Руками машут где-то в стороне
Мои друзья, родные, домочадцы,
И мой потомок тянется ко мне.

И на руки подхваченный ребенок
Почти парит над пестрою толпой.
И взгляд его, растерянный спросонок,
Возносится дорогой голубой.

* * *

Стамбул, Стамбул, судов старинный стан!
Ты свой привет прислал мне издалека.
И страстная приветливость Востока —
Поклон их мачт, согнувших стройный стан.

Качает лодку легкая волна,
И берега подпрыгивает глыба,
И скользкая, серебряная рыба
Течет, рыбацкой сетью пленена.

А над холмом, как розовая медь,
Горит рассвет на куполе Софии,

Печатается с сокращениями.

И вознесла камня голубые
Лазурная соперница, мечеть.

И минарета быстрая иголка
Все тянется к полотнам облаков...
А в переулке — щебет кабуков,
И катит апельсинчика двуколка.

* * *

Костей постукиванье. Домино.
И дремы дух все глуше, тиховойней...
Глоток шербета, сонный взгляд в окне,
И тишина под потолком кофейни.

Ты жаждал бури в молодые дни,
Но в этом доме — тишина гробницы.
Я жду, когда смежатся, эфенди,
Твои красноречивые ресницы.
В твоём приюте поселилась лень...
На выцветшем ковре своей кофейни,
Скрестивши ноги, ты сидишь, как тень.
Что может быть мертвее и музейней?

Огонь мерцает, светится окно.
Под потолок задумчивого дома
Костей постукиванье. Домино.
Шербет. И лихорадочная дрема.

* * *

Старый султанский дворец,
опоясанный садом султана,
Грозен, как старый султан,
как взгляд султана, суров...
Гостем случайным пришел
я в это царство забвенья.
Словно внезапная ночь,
тени касаются глаз.
Крохотных туфель походка
почудилась мне на мгновенье...
Слышу высокой травы
бесконечный гаремный рассказ.

Сколько тоски безграничной
в этом бессвязном рассказе,
Сколько воды протекло
в этом зеленом пруду!
Я не могу подарить
саду напев мухамбази,
Отблеск печальных очей
в трепете струй не найду.

Чью мне напомнила тень
стройная тень кипариса?
Листья дерев шелестят,
времени крылья шумят...
Чье-то дыханье течет
меж лепестками нарцисса,
Память о чьей-то улыбке
розы Шираза хранят.

Время вернулось ко мне...
Иссякнул времени трепет.
Что ж этот жадный самум,
знойный поток, сухойвей
Окон колышет застой,
из темного воздуха лепит

Взмахи султанских бровей,
сластолюбивых бровей?

Он за пленительный взгляд
сулил города султаната,
Но в голубой полутьме,
словно журчанье ключа,
Но в золотой тишине
прозрачно катилась прохлада...
Жаркие слезы во сне
тихо струила свеча.

Что мне томительный зной
темных страстей падишаха!
Бури, молитвы, слова
временем погребены...
Лишь нескончаемый плач,
песня разлуки и страха,
Лишь нескончаемый плач
слышится из глубины.

Уж не воскреснут вовек
беды, набеги, обиды.
Гурии этих садов —
грузинки-красавицы спят...
Милой Анаклии рощи,
грозные горы Колхиды
Помнят своих дочерей,
лиственной медью звенят.

Слезы свечи восковой
точат кремень и железо,
Стон рассекает железо,
стон разбивает кремень.
Эхо глухое времен,
эхо темного леса...
Перед вчерашней бедой
бессилен сегодняшний день.

Меркнут на мраморе слезы.
Задумчивый стих из Корана
Вязью чудесной течет,
переплетая карниз.
Старый султанский дворец,
опоясанный садом султана,
Море и сушу связал,
в сумрачном небе повис.

* * *

Вспомнил я в одно мгновенье
пышный вид Мульгазанзара¹.
Караван-сарай огромный,
площади, ковров пестрей.
Гомон толп необозримых,
звонкозвучный гам базара
И раскрытые приливу
пенные врата морей.

Помню, в караван-сарае
был я вместе с Автандилом,
И Фатьма-хатун когда-то
здесь рассказывала нам:

¹ Мульгазанзар — сказочная страна, расположенная у моря. Упоминается в поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Город сказки Гуланшаро¹
не покрыт могильным илом,
Он со дна встает, как солнце,
улыбается волнам.

Мир чудесный, мир, воспетый
дивной песней Руставели!

Я увидел вереницу
многоцветных куполов.

Рассыпаясь по террасам,
жарко розы пламенели,

Я услышал красный лепет
огнецветных лепестков.

Огненный, красноречивый,
яростный базар полдневный,

Полыхающий словами
и улыбками костер.

В ухищренях мягкий, плавный,
в оскорбленных быстрый, гневный,

Продавцов разногolosый,
бесконечный разговор.

Величальная молитва
золотого винограда,

Апельсинов литургия,
благовещенье плодов...

И плоды сочатся сладко,
и плоды сулят прохладу,

И протягивают руки
из-за длинных рундуков.

На подносе деревянном
обнаженные каштаны,

Потерявшие одежды
и упавшие без сил...

Чернослив, изюм и дыня,
и коричневый, и рдяный,

Бурнопламенный и алый,
огнедышащий кизил.

В жесткие литые перья
и в чешуйчатые латы,

Словно рыцарь иноземный,
весь закован ананас.

И с угрюмым чужеземцем
состязаются гранаты,

Краснощекие гранаты,
кровью брызжащие в нас.

Собеседнику и другу

я дарю плоды крушины,
И боярышник мне сладок

и приятен пшат простой,
И плоды оливы мира,

черноокие маслины,
Всей душой благословляю,

прославляю всей душой.

Дверь стеклянная открыта...

В этот дом нас приглашали

И у входа разостлали шелк,
и пурпур, и парчу,

Шали пестрые Кермана,
яркорадужные шали.

Нить червонная подобна
светозарному лучу.

Балансируют сосуды,
и кренится край подноса,

И ковер, большой, как море,
не развернут, а разлит.

Пара туфель драгоценных,
так музейно-остроноса,

Алым золотом пылает,
красным золотом горит.

Золотые крылья платья
развеваются, как птичьи.

О, старинный наш обычай,
гостю почеть и почет!

И парчовая одежда,
как ислевшее величие,

Важно падает на плечи
и течет, течет, течет...

Сабли вынуты из ножен,
и клинков мерцают жала.

В кованных пороховницах
сжата пороха гроза.

И по желобу кинжала
капля крови пробежала,

По стволам старинных ружей
словно катится слеза.

И дымят, дымят кальяны,
дым коленчатый струится,

Весь базар сидит и курит,
пахнет дымом теснота.

Может быть, скрестивши ноги,
сонно сузивши зеницы,

Здесь присела на пороге
усыпленная мечта...

Вот чеканка, вот насечка,
слышен частый стук долотца.

И стучит, стучит долотце
и молотит без конца.

Серебро звенит и льется
или золото куется,

Но гляжу я лишь на руки,
руки златокузнеца.

Для того, кто ценит руки,
мастера живые руки,

Эта музыка священна,
свят благословенный труд.

И стремительные звуки,
и серебряные звуки

Заглушают гул базара,
и летают, и поют...

Оттого, что сердцу милы
не бездушные машины,

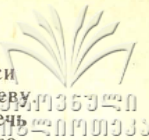
Что похожи друг на друга
и уходят без следа.

Я люблю цветные шали,
узкогорлые кувшины,

В них дыханье жизни хрупкой
и бессмертие труда.

¹ Гуланшаро — легендарный город из той же поэмы. По-ирански — «Город роз».

Вновь оглядываю площадь...
И базар гудит, как улей.



Пышной сказкой Руставели
 снова кажется базар.
 Я с отважным Автандилом
 побывал в большом Стамбуле,
 И Стамбул звонокоголосый
 был для нас Мульгазанзар.

* * *

Мелькнул базар... И снова я в пути.
 Далеких лет затихла суматоха.
 Пишу стихи, чтоб новая эпоха
 Сумела отраженье в них гайти.

Но снится мне иль вижу наяву,
 Стамбульские оглядывая выси:

Цветные окна, дворики Тбилиси
 Шагают в гору, всходят в синеву
 Хотел бы я из прошлого извлечь
 Похищенное прошлым у живого,
 Чтоб камень пыльный превратился в слово.
 И заструилась царственная речь.
 Хотел бы я, чтобы мои страницы
 Нетленную воспели красоту,
 Мгновенный всплеск, упавший на ресницы,
 Далекую, как молния, мечту.

Я близкое из дальнего творю
 И в будущем его увековечу!
 Я с предками живыми говорю,
 Пришедшими на радостную встречу!

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

Окончание следует

Теймураз ДЖАНГУЛАШВИЛИ

СУЛХАН-САБА

Потускнела земля,
 надвигается сумрак вечерний,
 о прошедшем своем
 плачет в дальней дали листопад.
 Тихо входит Саба
 в засыпающий город пещерный,
 складки рясы его
 о горячих моленях шумят.
 Смотрит майская ночь
 черным глазом в грядущие зори;
 из родного села
 до Саба долетел ветерок, —
 о, ведь там, далеко,
 у бегушей прозрачной Иори
 ждать остался Сулхан,
 он покинуть Иори не мог.
 И молчит, без воды
 задыхаясь, пещера Гареджи —
 в молчаливую высь
 все молебны давно отданы.
 И на небо глядят
 утомленные камни и бредят,
 и сквозь бред слышен стон
 позабытой богами страны...
 И печальный Саба
 тихо входит в Гареджи угрюмый, —
 он прощался сейчас
 со своей угнетенной землей, —
 ведь об этой земле
 его долгие, долгие думы,
 из-за этой земли
 потерял он мирской свой покой.
 Черноризец Саба,
 за стеной монастырской, на воле
 тебя ждет молодой,

полный гнева и скорби Сулхан,
 ждуг тебя небеса,
 ждет забывшее борону поле,
 голубиный ждет пух,
 ждет
 хребты затянувший туман.
 Неужели навек
 от вина отказатья и мяса,
 черным платьем закрыть
 от ветров свое сердце и грудь, —
 так сорви же с себя
 эту чуждую, душную рясу —
 там мирской ждет Сулхан,
 он зовет, он зовет тебя в путь!
 Он зовет тебя в путь
 самых трудных и нужных свершений,
 по великим морям
 к незнакомым тебе берегам.
 Помни, помни, Саба,
 не в тиши монастырских свечений
 жизнь твоя протечет —
 ты отдашь ее будущим дням.
 Ведь грузинской земле
 жить и быть до скончания света,
 ну и что ж, что сейчас
 и бесправна она, и слаба!..
 Но сейчас она ждет,
 от Саба ждет, ты слышишь, ответа,
 так скорее, скорей
 выходи же из кельи, Саба!
 Там, в селенье твоём,
 дни и ночи Сулхан ожидает,
 ожидает тебя
 и ведущая к дому тропа:
 меч отточен, Саба!



Лед в горах закипает и тает,
и рассеялся мрак —
и сошлись Сулхан и Саба.
И по тропам степным,
по далеким и долгим дорогам
день и ночь, день и ночь
притупившийся посох стучит,
и идет человек —
и старик и юнец безбородый —
он Сулхан и Саба,
и о чем-то так долго молчит.
У Европы

Саба
просит помощь (опять униженье!),
но не верит Сулхан
в человечность вельмож этих стран.
Горе ставит Саба
перед троном чужим на колени,
но тотчас же его
поднимает на ноги Сулхан.
...И вернулись назад
и старик, и юнец безбородый,
у Сулхана-Саба

на плечах вековая печаль,
небо молит Саба —
он промолится все свои годы,
саблю точит Сулхан
и глядит в невеселую даль.
Так ходил он не раз
по дорогам глухого столетья,
он просил, он молил,
он искал, умолял, заклинал,
он слезами омыл
все сожженные села на свете,
а мечтанья его
непросветный туман покрывал.
Так он шел по земле
сквозь дремучие мрачные годы,
два столетья слепых,
как слепой, он по свету блуждал,
и лишь только теперь
на земле всенародной свободы
он зарею взошел
на бессмертья святой пьедестал.

Перевод Георгия МАЗУРИНА

Николай БРАУН

* * *

*Ираклию Абашидзе, предпринявшему
поиски места упокоения Шота Руставели.*

Так пройти по следам,
По тропинкам,
По смутным дорогам,
Что хлестало кнутами дождей,
И ветров,
И песков,
Так всем сердцем припасть
К его думам, страстям и тревогам,
Через все напролет
Семь веков,
Семь веков,
Так проникнуть сквозь них
И так явно услышать, расслышать,
Уловить его шаг,
Его вздох,
Его речи родник, —
Как ты мог,
Как ты мог,
И каким ты прозрением высшим
Был один осенен,
Окрылен,
Одарен в этот миг?

Не простой следопыт,
Вырывал ты из смертного плена
То, что смертью сокрыто
И тайной укрыто в веках.

Перед тенью великой
Вставал ты на оба колена,
Припадая к земле,
Где священный покоится прах,
Припадая в слезах,
Как посланец из Грузии милой,
От земли, где впервые
Качнулась его колыбель,
От земли, что о нем
Семь веков безраздельно грустила
И что след его ищет
За тридевять дальних земель.

Верный отчим заветам,
В сердцах поколений хранимым,
Зову их голосов,
Что звучат семь веков,
Семь веков,
Ты коснулся камней,
Затуманенных времени дымом,
И, охваченный дрожью,
Застыл перед ними без слов.

И тогда, словно чудо,
Из недр заповедных былого
Легким шорохом,
Шелестом,

Звоном, чуть слышным сперва,
Родилось,
Поднялось,
Рассиялось
Алмазное слово,
Перед светом которого
Меркнут иные слова.

И, не веря ушам,
Ты, охваченный временем, понял:
Это — он,
Это — Слово его,
Это — голос его,
Это — Грузии голос,
Что в дебрях веков не потонет,
Он открылся тебе
Через всех поколений родство.

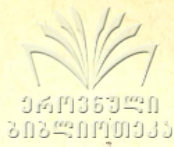
Он открылся тебе
Всею грустью,
Всею яростью боли,
Всею тоской по истокам следов,
Где расцвел его дар,
Всею, даже и в смерти самой
Непогасшей любовью
К солнцу солнц,
Ослепившему взор,
К несравненной Тамар,
К слову матери,
К песне ее колыбельной,
К слову Картли, что стонет
Под стук чужеземных копыт,
К слову гордому гор,
Что гортят в высоте запредельной,

К слову рек несмиранных,
Что гневом призывным гремит.

Ты стоял у последней черты,
У последнего вздоха
Исполина,
Чье слово
Не знает последней черты.
Семь веков.
Семь веков,
За эпохой сменялась эпоха,
И посланцем эпох,
Замирая,
Внимал ему ты.

И века отступили,
И сблизились дальние вехи,
И взыграли потоки Куры
У подножия Мцхет.
Встало небо Рустави,
Приблизились камни Месхети,
Устремляясь туда,
Где последний застыл его след.

Вся отчизна, казалось,
Склонилась в тот миг у порога
Древних стен,
Где нашел он последний свой кров...
Только высшей любовью,
Великой сыновней тревогой
Ты нашел его след,
Одолев семь веков,
Семь веков!



ФЕВРАЛЬ

ПОВЕСТЬ

В горах еще стояли лютые морозы, и февральские вьюги заматали перевальные тропы, а здесь, в приморских долинах Одиши, весна уже набирала свою силу, и если шли дожди, то они были похожи на бурные ливни, а в ясные дни солнце чуть ли не по-летнему припекало набухшие почки алычи и мирабели.

Все говорило человеку о наступающей весне: оживленный птичий гомон, звонкие голоса вырвавшихся на волю ручейков, мощный рев набравших силу рек, блеяние новорожденных ягнят, озабоченное кудахтанье насекомых.

Воздух был напоен запахами весны, и сама пробуждающаяся земля тоже пахла весной. И от всех этих запахов у человека радостно, по-хорошему кружилась голова.

Солнечные лучи влились в распахнутое окно деревянного здания двухклассной школы и упали на ветку мирабели. Ветку держал в руках учитель Шалва Кордзахаи, сутулый, долговязый человек лет шестидесяти. Седая борода-ка клинышком удлиняла и без того длинное лицо учителя, делала его еще более узким. Учитель стоял у доски, то и дело поправляя накинутае на плечи потертое пальто. Он с удовольствием прислушивался к чистому голосу мальчугана, читающего нараспев строки народного стихотворения о весне.

Февраль наступил, деревья наполнились соками,
 Птичка-щобетуныя свила гнездо,—

выпевал мальчуган, и все товарищи слушали его, не смея шелохнуться, словно это была молитва. Чудесные лица были сейчас у этих крестьянских детей — усыпанные веснушками и уже тронутые первым загаром весенние лица.

Учитель подошел к передней парте, приподнял ветку мирабели так, чтобы ее было видно всем, и потрогал пальцами набухшую почку. Он был взволнован, но старался, чтобы ученики не заметили этого.

— Весной у растений появляются все условия для роста, — сказал учитель, продолжая урок. — А ну, Джгеренаи, скажи-ка нам, какие условия необходимы растению для успешного развития?

— Тепло и влажность, учитель, — бойко ответил Гудза Джгеренаи. Когда Гудза поднялся для ответа, сразу стало видно, что он явно вырос из своей бедной одежки, и рукава стали такими короткими, будто их нарочно подрезали, и подол тоже будто кто-то обкорнал — из-под рубахи был виден голый живот. Гудза был бос и походил на стройного жеребенка — такие у него были тонкие и, видно, крепкие ноги. «Слава богу, всесокрушающая колхидская лихорадка пощадила его», — подумал учитель.

— Учитель, а правда, что деревья наполняются соками? — спросил Гудза.

Шалва любил этого прилежного и любознательного мальчика и с таким же теплым чувством относился и к сидящему за одной партой с Гудзой Гванджи Букиа, сыну Беглара Букиа, младшему брату сгинувшего на германском фронте Вардена.

— Да, наполняются соками. От тепла соки растекаются и дают пищу почкам. Сядь, Гудза, не мешай товарищам слушать... Итак — почки набухают, растут и уже не вмещаются... — учитель вопросительно посмотрел на ребят, приглашая их продолжить эту мысль.

— В стенках они не вмещаются, учитель, — выпалил Гванджи Букиа. Он был очень бледен, и глаза его запали. Мальчик с трудом сдерживал дрожь, боясь, что учитель заметит, как его лихорадит.

— Внутренним давлением почка разрывает стенки, — продолжал учитель, не отводя взгляда от трясущегося мальчугана, — освободившись, она начинает расти. — Учитель подошел к Гванджи. — Опять тебя лихорадит, мой мальчик.

— Нет, ничего, учитель.

— Садись! — Шалва снял с себя пальто и накинул на мальчика. — И шапку надень.

— У Гванджи нет шапки, учитель, — сказал Гудза Джгеренаи.

— Да, кет, шапки, — вспомнил Шалва. — Знаю, знаю. Дай ему свою, Гудза.

— Сейчас, учитель! — Гудза вытащил из парты свою шапку и нахлобучил ее на Гванджи.

Шалва подошел к доске, взял мел.

— Почка распускается и превращается вот в такой листок, — учитель нарисовал лист мирабели, вытер выпачканные мелом руки о тряпку и некоторое время неподвижно стоял у доски, словно прислушиваясь к щебету птиц на дереве за окном. Но думал он совсем о другом. Дети смотрели на учителя затаив дыхание. Никогда они не видели своего учителя таким взволнованным и задумчивым.

— Продолжим урок, — отмахнулся от своих дум Шалва. — Вы знаете, дети, когда у нас начинается пахота?

— Сегодня начинается, учитель, — снова поднялся измученный приступом лихорадки Гванджи. — Сегодня отец ушел еще до зари.

— Чью землю собираются пахать Беглар? — спросил учитель.

Гванджи погупился, едва сдерживая подступившие к глазам слезы.

— Землю Чичуа, учитель... Отец не послушался нас... Мама не пускала его... я тоже просил... и соседи просили, — сказал Гванджи и, не сдерживаясь, заплакал.

По пыльной дороге быстро, очень быстро, прежде никто не видел, чтобы он так спешил, шагал учитель Шалва Кордзахиа. Он был без пальто, и в другое время люди крайне удивились бы этому — учителя всегда знобило, и он не расставался со своим старым пальто даже в иные летние дни... Но сейчас все знали, куда и зачем идет учитель, и другие мысли, другие тревоги и заботы владели теми, кто следил за почти бегущим по улице Шалвой.

Учитель Шалва Кордзахиа пользовался в селе безусловным уважением, слово его было для большинства крестьян законом, но послушаются ли теперь Беглар Букиа и его отчаявшиеся соседи учителя — вот что волновало сейчас жителей деревни.

Беглар Букиа, Эсебуа, Филипия, Коршиа, Квинквиниа и Джгеренаиа арендовали у помещиков, братьев Чичуа, их заречные земли. Половину урожая арендаторы отдавали Чичуа, от другой же половины после уплаты налогов и неизбежных долгов не оставалось почти ничего, и издольщики едва дотягивали до весны. И вот крестьяне не выдержали, терпение их лопнуло, чаша горечи переполнилась. В прошлом году они отказались засеять поля, надеясь, что Чичуа согласится на треть, но помещики даже не ответили на их письма. Тогда Беглар Букиа решил отнять эту землю у Чичуа силой. Другие арендаторы — Эсебуа, Коршиа, Квинквиниа, Филипия, Джгеренаиа и Эсванджиа — поддержали его.

Окна местной аптеки выходят на главную сельскую улицу. Провизор Эстатэ Начкебия стоит у окна с какой-то склянкой в руках и порывисто взбалтывает мутную жидкость, не отрывая глаз от идущего по улице учителя. Женщины, ожидающие за перильцами лекарства, знают, к кому приковано внимание аптекаря, и вполголоса судачат.

— Этот Беглар Букиа подбил Иванэ Эсебуа и Нестора Филипия, погубит он их, ни за что погубит.

— Погубит! Он смутьян известный, этот Беглар.

— Проклятые большевики сводят с ума таких вот бедняков, как Нестор и Иванэ.

— Накликает Беглар на наши головы беды.

Провизор обернулся к женщинам.

— Вы говорите, беды? А может, добро?

Женщины переглянулись и умолкли.

Учитель Шалва Кордзахиа, не сбавляя шага, шел по проселочной дороге, и сотни глаз провожали его с тревогой и волнением. Господи, что же будет? Что будет? — горестно вопрошали женщины, зная, впрочем, по давнему опыту, что такие дела никогда не кончатся хорошо. — О, господи, лишь бы кровь не пролилась, лишь бы не было крови.

В отличие от возбужденных, встревоженных людей природа была спокойна: над деревней и окружающими ее полями стояла ничем не нарушаемая тишина.

На широком балконе почты сидели фельдшер Калистрат Кварцхава и почтмейстер Эквтиме Каличава. Эквтиме был так тучен, что едва дышал. Скрепленные руки его, словно опухшие, лежали на вздувшемся, как бурдюк, животе.

— Так вот, больше века прошло после смерти царя Георгия, — говорил, отдуваясь, почтмейстер, — да, милый мой, больше века прошло... Сто шестнад-

цать лет ходили мы в царском ярме. Но сейчас, когда Грузия завоевала независимость... и когда Англия, Франция, Италия и даже далекая Канада признали ее, — Эквтиме перевел дух, носовым платком отер пот со щек и лба и уже хотел продолжить свою речь, но тут фельдшер сам продолжил его мысль:

— и мы объявили всему миру, что Грузия суверенное государство, такое же, каким оно было при Вахтанге Горгасале, Давиде Строителе, царице Тамар. И вот теперь, когда мы свободны и независимы, когда у нас есть свое грузинское учредительное собрание — высочайшее учреждение, избранное народом...

— Прости меня, дорогой, — прервал фельдшера Эквтиме, — не народом избранное... В учредительном собрании заседают те, кого назначила ваша меньшевистская партия...

— ...когда у нас есть свое грузинское правительство, — как ни в чем не бывало, продолжал Калистрат. Он давно научился пропускать мимо ушей такие колкости друга. — Именно в это время красный дракон хочет проглотить нас, — с таким пафосом продекламировал Калистрат, что Эквтиме лукаво улыбнулся.

— Подавится, — сказал Эквтиме и приложил руку к груди, в которой что-то хрипело и булькало. — Отбросим, как отбросили деникинские банды.

— Да, крепенько пощипали Деникину хвост, — хихикнул фельдшер.

— Деникин все же лучше красных, — сказал почтмейстер. Он знал, что волноваться ему вредно, но ненависть к большевикам была так сильна, что Эквтиме махнул рукой и на свое благоразумие, и на запреты врача.

— Ты прав, Эквтиме, — подтвердил фельдшер.

— О, погляди на нашего учителя, — перебил его Эквтиме. — Интересно, куда это он так спешит. И без пальто...

— Наверное, к разбойникам этим идет Шалва, — сказал фельдшер. Его румяное, всегда чисто выбритое лицо лоснилось. Он был облачен в белый китель, галифе и желтые ботинки с высокими желтыми крагами. Из жестко накрахмаленного высокого воротника рубахи торчала тонкая, жалкая шея. Но Калистрат носил только такие рубахи, с жесткими, неудобными воротниками, потому что всеми силами старался походить на иностранца. Более года служил фельдшер Кварцхава в Египте, пока какой-то купец-араб чуть не убил его из ревности. Калистрату пришлось бежать из Египта. Два года он пробыл в Париже, но на другой же день после начала мировой войны был вынужден оставить Париж и вернуться на родину. Перед односельчанами Калистрат хвастался, что окончил Сорбонну, и выдавал себя за врача, хотя в этом, пожалуй, не было и особенного преувеличения — он на самом деле не уступал иному врачу. Но в деревне Калистрат Кварцхава был популярен не столько как врач, сколько как фронт и знаток французского языка. Правда, фронтил он почему-то не на парижский манер, а на колониальный — широкополые шляпы и краги носили в то время в жарких странах белые плантаторы. И в самом деле, шляпу эту и краги, с которыми Калистрат не расставался ни зимой, ни летом, он привез из Египта. Парижской у Калистрата была только толстая трость с набалдашником в виде головы бульдога. Калистрат был не просто щеголем, а выдающимся щеголем, и даже манерой сидеть на стуле или на скамье резко отличался от своих односельчан. Он и сейчас сидел на лавочке не так, как его друг почтмейстер, — тот просто развалился, деревенщина, — а прямо, опираясь руками на трость, закинув правую ногу на левую, небрежно, как бы по забывчивости болтая ею и любуясь носком желтого ботинка.

— Ты послушай, что я тебе скажу, — с трудом преодолевая одышку, сказал почтмейстер, — красная Россия разбила наших соседей Азербайджан и Армению, и сейчас... сейчас она угрожает нам. И что же мы видим в такое трудное время у себя в Грузии? Мы видим, что наши доморощенные большевики тычут нам копьём в спину... Крепость разваливается изнутри, вот что я тебе скажу. Ты слышал когда-нибудь о таком, мой Калистрат?

— Я слышал и то, что крепости нужны двери, а дверям сторож. А у нас нет ни дверей, ни сторожа.

— Тут ты прав — не было и нет, — сказал Эквтиме. — У вас, меньшевиков, никогда не было национального чувства.

— Как ты смеешь! — оскорбился фельдшер.

— А что, неправда? Вы, меньшевики, всегда говорили: «Наша родина там, где можно набить себе желудок».

— Клевета!

— Вы всегда были космополитами.

— Если ты не замолчишь, я... я не отвечаю за себя, — теряя самообладание, прошипел Калистрат.

— Национальное чувство в вас пробудили большевики. А впрочем, еще не пробудили. Вы боитесь, что большевики отнимут у вашей партии власть, и вы

хорошо знаете, что народ за вас не заступится... вот вы и играете на его национальных чувствах.

Еще недавно такая прозрачная, до голубизны, и мирная река сойгас тацила на своих высоких, мутных и недобрых волнах деревья, коряги, кусты, доски от домов и кукурузников, затонувших где-то в верховьях овец и кур, деревянную посуду и разную утварь из разоренных человеческих гнезд.

На высокому берегу реки стояли и сидели те, кого любопытство или тревога привели сюда из деревни. Они не смотрели на реку, не прислушивались к ее реву, никто из них не мог оторвать глаз от заречного поля, где крестьяне под предводительством Беглара Букиа распределяли землю, нарезали плугами межи, запахивали уже выделенные им участки.

Иванэ Эсебуа, босой, обросший мужик, пахал выделенную ему землю. Буйволы погоняла его дочь Инда, а сам Иванэ шел за плугом. Буйволы Лома и Буска легко тащили плуг — земля здесь была мягкая, рассычатая. Иванэ не верилось, что он пашет собственную землю. Прежде чужую, а отныне собственную. Иванэ вдруг отпустил плуг, лег в борозду, вытянул ноги и стал осypать себя землей. От наслаждения ок весь дрожал и взвизгивал:

— Земля! Моя земля! Моя собственная, земля! Люди, соседи, Беглар, Нестор, Коста, Гайоз, поглядите на мою землю! Да поглядите же!

И те, кто был занят разделом земли, и те, кто уже пахал ее, и те, кто наблюдал за этим событием с другого берега, теперь глядели с печалью, с состраданием и страхом на обезумевшего от счастья Иванэ.

— Моя земля! — уже во весь голос кричал ошалевший Иванэ. — Моя! Собственная! — Он прижимался к земле грудью и, задрвав рубашку, растирал землей истощенное от тяжелого труда и голода тело. — Моя земля, люди! Моя земля! Инда, это наша земля, дочка! Так почему же ты не кричишь? Почему не плянешь от радости, почему не прыгаешь до неба?!

Инда словно окаменела от страха. Неужели отец лишился рассудка? Девушка хотела броситься к отцу, обнять его, успокоить, но ноги не подчинились ей. Она попыталась сказать отцу что-то ласковое, но язык отказался ей служить.

Беглару Букиа поведение Иванэ не понравилось. Он решительно направился к Иванэ, чтобы поднять его с борозды, но Инда опередила его.

— Встань, отец! — твердо сказала девушка. — Встань! — Она нагнулась, схватила отца за руку.

Иванэ покорно поднялся.

— Ты пойми, Инда, теперь это наша земля, наша, — шептал Иванэ. Губы его посинели. Он бессмысленно ворочал глазами. — У меня теперь своя земля, дочка, своя. — Он всхлипнул, и вдруг из гортани его вырвался неудержимый смех — отрывистый, больше похожий на рыдание. Иванэ смеялся и всхлипывал, всхлипывал и смеялся.

Среди тех, кто наблюдал за этой сценой с противоположного берега, выделялся седобородый старец в поношенной, но опрятной одежде. Он сидел у самой воды, ковыряя палкой землю, и громко, стараясь перекричать рев взбунтовавшейся реки, говорил, ни к кому прямо не обращаясь. Он просто по старческой привычке вслух выражал свои мысли.

— Из-за земли убивался мой отец, — говорил старик, — из-за земли погиб мой дед, из-за нее страдали все мои предки, весь наш род Куршиа, все наши близкие и далекие, вся деревня наша, весь округ, все крестьянство Одиши. Вот, — он показал палкой в сторону поля, — вот тут стояло войско Угу Микава, и, когда офицер генерала Колюбякиа приказал ему положить оружие и расходиться, народ сказал — нет.

— То был офицер русского царя, то было царское войско, дед Зосиме, — сказал парнишка лет пятнадцати, сидевший рядом с дедом Куршиа и с восторгом смотревший на то, как крестьяне делят помещичью землю. Мальчик уже давно был бы с ними, но мать удерживала его. Она стояла над ним, облаченная в черное, худая, желтолицая, изможденная, и мальчик не решался ее покинуть, не осмеливался ее послушаться.

— Молчи, чтобы у тебя язык отсох! — воскликнула мать, а про себя подумала: «Не твой, а мой, мой язык пусть отсохнет».

Зосиме посмотрел на паренька, покачал головой.

— Без крови никто землю не уступит, парень. Так было при Даддани, так было при русском царе, так и сейчас. Я всю свою жизнь засыпал и пробуждался с мыслью о земле.

— Почему же ты не взял землю, дед Зосиме? Испугался крови? — спросил мальчик.

— Молчи, чтобы у тебя язык отсох, — опять рассердилась мать, но тут же погладила сына по голове.

Старик заколебался, голос у него изменился.

— Взятая ценой крови земля не даст счастья, мальчик. Нет, не даст. А ты кто? Мне лицо твое знакомо. Не сын ли ты Авксентия Коршиа?

Парень кивнул головой.

— Разве проклятый людьми и богом Джгорона не убил из-за клочка земли твоего отца?

Мальчик помрачнел. Мать нагнулась к сыну и взяла его руку в свою.

— Пусть годы, которых не дожил отец, прибавятся тебе, — сказал Зосиме мальчику.

Мальчик осторожно высвободил руку из рук матери.

— Их не смогут убить, дед Зосиме, их много, — кивнул он на поле.

— Войско Уту тоже было большое, — вздохнул Зосиме.

— Не слушай его, Зосиме, — сказала старику мать и отерла слезу, — дитя он, глупый еще.

— Сын покойного Авксентия Коршиа не может быть глупым, — возразил Зосиме. — Ума Авксентия на десятерых хватило бы. Как тебя зовут, парень? Ах, да, вспомнил. Ты Кочоиа.

Парень кивнул головой.

— Хорошее имя Кочоиа. И ты, видать, хороший парень. Но ты должен стать таким, как отец. Настоящим мужчиной ты обязан стать. Понял?

Люди вокруг зашептались. Все обернулись к дороге.

— Учитель!

— Смотрите, Кордзаха идет!

— Без пальто, без шапки.

Шалва шел к парому. Казалось, он не видит собравшихся на берегу людей.

— Кого это вы увидели? — всполошился Зосиме.

— Учителя Шалву.

— Умный человек Шалва Кордзаха. Знает, что без крови никто землю не отдаст.

Паромщик Бахва Бахиа издали увидел идущего к парому учителя и, конечно, сразу понял, куда тот спешит. Бахва нахмурился. Он едва удерживал привязанный паром, вода поминутно грозила сорвать его. Как же он перевезет Шалву? А перевести его на тот берег придется.

Бахва Бахиа был старым человеком, но жизнь на открытом воздухе у самой реки удивительно молодила его. Он был хорошим рыбаком, в его лодке всегда были сазаны, лососи, усачи и сомы. Не имея земли, он кормил семью весьма скромным заработком перевозчика и рыболовством.

— Совсем спятила нынче река, Шалва, — сказал паромщик после того, как приветствовал учителя. — Того и гляди, оторвет паром. Смотри, как тащит. Эта сумасшедшая вода ничего в горах не оставила, целые деревни, говорят, начисто смыла.

Бахва хотел напугать Шалву: может, все-таки откажется от переправы. Но учитель даже слушать об этом не захотел.

— Ты должен перевести меня, — строго велел учитель и, не ожидая ответа Бахвы, ступил на паром.

Бахва последовал за ним.

— Никогда не видел реку такой буйной, — не унимался Бахва, но и на этот раз учитель не услышал его предостерегающих слов.

Учитель пристально вглядывался в поле. Он чувствовал, что руки его начали дрожать, и, чтобы сдержать дрожь, стиснул зубы. Никогда с ним не бывало такого, а ведь всякое с ним уже случалось в жизни: и беды, и печали, и вспышки гнева, и приступы гнетущего страха.

— Вода унесет паром, как лист, — ужаснулась какая-то женщина.

— Боже, они разобьются о камни!

— Верните их, не пускайте их, люди!

— Бахва! Опомнись, Бахва, — крикнули мужчины.

Ни Бахва, ни учитель не повернули головы. Паром уже отчалил, и Бахва мог думать только о том, как удержать его на этой бешеной воде, а учитель обдумывал слова, которые он скажет Беглару и крестьянам.

Авторизованный перевод Эммануила ФЕЙГИНА

Продолжение следует

СВЯТЫЕ В АДУ

ПОВЕСТЬ

— Обидел я тебя чем-нибудь? Досадил? Почему ты меня гонишь? Объясни, почему!?

— Я просто прошу тебя уйти.

— Ладно, поцелуй меня один раз, и я уйду.

— Нет. Отстань от меня.

— Ладно, я сам тебя поцелую.

— Не смей! Мириан!!! — она оттолкнула его с яростью. — Не прикасайся ко мне, слышишь?!

Я влетел в сторожку.

— Джондо, это тебе не делает чести!.. Насилие... это... — от сильного волнения я не мог найти нужных слов.

Джондо криво усмехнулся и закусил нижнюю губу. Некоторое время он стоял молча, наконец заговорил сдавленным голосом:

— Значит, я идиот... я ни черта не понимаю... Поверить, что ты меня не завлекла? Пока ты не скажешь правду, я отсюда шагу не сделаю.

Лицо его исказилось, побледнело. Я увидел в нем себя, каким был совсем недавно. Да, самое страшное — обмануться в своих надеждах.

— Ну, говорите, что тут происходит? Говорите!

Майя сперва взглянула на меня, потом оборотилась к Джондо:

— Происходит то, что... Я люблю Мириана, вот что... — медленно и тихо проговорила она. — Только Мириана и никого больше ни на небе, ни на земле. Вот. Вы заставили меня это сказать. Люблю его чистой и верной любовью.

— Не сводите меня с ума! — вскричал Джондо и взмахнул рукой, точно отгоняя от себя что-то невидимое.

— Я не знаю, как и когда это случилось, но случилось...

Джондо горько усмехнулся, потом нахмурился и сразу как-то посерьезнел. Потушился, провел рукой по усам, пожал плечами.

— Да-а... В жизни не встречал таких странных людей! Вы оба то ли ненормальные какие-то, чудачки, то ли... в этом аду... Что ж, простите меня!

Он быстро собрался и остановился у порога:

— Не думайте, что я... Я ухожу сам, по своей воле... будьте счастливы, не поминайте лихом.

— Обожди, — остановил я его.

— Чего ждать-то, все ясно.

— Напиши имена тех, кто погиб из ваших.

— Я и без писаний помню.

— Помнить мало. Напиши. Майя, дай ему бумагу и карандаш. Пиши в двух экземплярах. Один себе оставишь, другой нам.

— На черта мне писать! Кому я должен давать отчет? Может, еще заполнить анкеты тех фашистов, которых я уюкошил?

— Вчера ты красиво пил за память о погибших. А ведь у них только мы и остались — больше никому о них рассказать.

Он молча сел и стал писать. Я тоже переписал наш список, и мы обменялись ими.

— Оба списка сдашь в штаб армии и подробно расскажешь историю обоих батальонов.

Он подошел к дверям, но остановился и обернулся со словами:

— Проводи меня немного, Мириан.

— Мы тебя проводим, — отозвалась Майя, и я уловил тень испуга в ее голосе.

— Чего ты испугалась, Майя? — с грустью проговорил Джондо. — Думаешь, я подонок? Нет, девочка, из-за угла я даже фашистов не убивал. Но мне хочется сказать Мириану пару слов.

Окончание. Начало в №№ 9, 10, 11.

Мы шли с ним бок о бок. Молчание прервал Джондо:

— Когда я выполню свою клятву, я либо раздобуду моторку, либо, если не сумею, тоже направлюсь в Керчь. Может статься, нас снова сведет судьба на одной дорожке... Прошу тебя, поверь мне и не думай обо мне дурно. Я человек упрямый, верно, но я умею и отступать, если так надо. Прости меня, если ли я тебя обидел. Честно говоря, я сейчас сам от себя ухожу. Не хочу, чтобы мы нехорошо расстались, а характер у меня скверный, это я сам знаю. Большой тут для меня соблазн, уж больно ягодка хороша, да трогать ее нельзя — это я уразумел. А натура у меня паскудная, понимаешь: как увижу девуку, не успокоюсь, пока ее не улочаю, а проведу с ней две ночи — и баста! Будь она самая что ни есть красавица — надоест, уродиной покажется, и меня уже несет куда-то от нее. Ты меня пойми, друг, я тебе все, как на духу говорю. И спасибо тебе, что ты поверил и пошел со мной. Ты настоящий мужчина, а такого, будь он мне хоть кровным врагом, я не могу не уважать. За список будь спокоен — я свою жизнь задешево не отдам и до наших доберусь, все сделаю. — Он поправил на плечах бурку, укутал голову башлыком и протянул мне руку: — Ну, брат, прости и прощай! А может — и до свиданья!

— Будь здоров, Джондо, до свиданья.

Он помахал рукой, повернулся и, затаив мегрельскую «Кучха бединэри», зашагал по снегу.

Майя вышла меня встречать. Видно, она следила за нами издали.

— Ну что?

— А ничего. Он просил простить его, если что не так. Не веришь? Впрочем, и у меня мелькнула грешная мысль, что он... что у него другое на уме. Он, может, и чудаковатый парень, но не плохой. Главное — открытый, так и рубит все с плеча.

Майя в задумчивости остановилась у входа в сторожку.

— Входи, чего ждешь-то? У нашего дома и двери нет, видишь?

— Снова повесим плащ-палатку. Но я не хочу входить так.

— Не понимаю?

— Скажи, ты смог бы меня обмануть когда-нибудь?

— Почему я должен тебя обманывать? Я вообще никого не обманываю.

— Вот и я не могу тебе лгать. Клянусь! Лучше мне самой себе солгать, чем тебе. И скрыть от тебя тоже ничего не могу. У меня ужасно горят щеки, Мириан. Ты, наверное, не видел — Джондо поцеловал меня. В тот момент мне это даже было приятно, а теперь меня жжет этот поцелуй, понимаешь! Я не могу и не хочу войти так в сторожку.

Внезпно она обвила руками мою шею и склонила голову мне на плечо. Ее дыхание, тепло ее тела — девичьего тела — обожгли меня. Дух у меня занялся. Растерянный, опешивший от такой неожиданности, я стоял, как пень. «А не испытывает ли она меня?»

— Чего ты смотришь, Мириан? Только ты вправе и в сила стереть с меня те поцелуи. Только ты!

И тогда, точно очнувшись от столбняка, я стал осыпать жадными поцелуями ее лицо, щеки, лоб, губы. Сгорающий от жажды, я нашел родник и припал к нему, теряя себя от счастья.

Она стояла, как в дурмане, неподвижно, закрыв глаза, но вдруг, так же неожиданно и внезапно, как обняла, — оттолкнула, отстранила меня, сбросила с себя мои руки.

— Хватит! Я не о том тебя просила, — глухо сказала, — хватит. Дай мне теперь косынку. Дай, слышишь?

— Не пора ли кончать это дураковаление?

— Кто тебе сказал, что это дураковаление? Я верну косынку, когда настанет время.

Я молча протянул косынку. Вдруг с той стороны, куда ушел Джондо, грянул выстрел. Эхо повторило его. Мы онемели.

— Не в себя ли это он?..

— Да вон он, бежит! Что-то случилось!

— Скорее, бежим! Немцы! — крикнул издали Джондо.

Я пулей влетел в сторожку, схватил автомат, ручные гранаты и выскочил обратно.

— Ну, чего мешкаете? Я насчитал девять фашистов. Они определенно сюда направляются. Я засяду где-нибудь возле сторожки, а вы сматывайтесь! Быстрее, пока они не взобрались сюда. Быстрее, черт подери!

— Мы останемся вместе с тобой. Почему ты должен принять огонь на себя?

— Они по мою душу сюда идут, о вас ничего не знают.

— Знают. Мы тоже убили двоих.

— Не время торговаться! Скорее, черт возьми, скорее! Не губите себя и меня! Отсиживайтесь за скалой. Если они уйдут от меня, встречайте их вы. Всем вместе нельзя, кто-то один должен остаться в живых... я прощу, умоляю — ступайте отсюда! Может, нас будут атаковать и с другой стороны!

Я посмотрел на Майю и прочел в ее глазах согласие. Мы вбежали в сторожку, схватили вещмешки и припустили вниз по лесистому склону.

— Здесь! — остановился я, приметив удобное для засады местечко за скалой. — Ты иди туда, — я указал Майе на большой валун, а сам залег и вооружился биноклем.

Джондо засел за сторожкой.

Сначала застрекотал немецкий пулемет: потом подал голос и малокалиберный миномет. Сторожка окуталась дымом.

На гребне холма появилось трое фашистов. Они бежали зигзагами, ложились, снова поднимались и снова бежали. Один из них достиг сторожки. Остановившись перед ней, он осмотрелся и, не заметив ничего подозрительного, помахал остальным. Те двое поспешили к нему. Следом за ними появилось еще шестеро. Они волокли пулемет и миномет.

Грянул выстрел. Один из фашистов пошатнулся и повалился наземь. Еще выстрел — и еще один фашист оказался на земле, и еще. Остальные бросились кто куда. Солдат, который первым подошел к сторожке, тоже присоединился к тем — раненым или убитым. Вдруг Джондо вскочил, выпрямился во весь рост, взмахнул рукой, побежал и снова залег. Раздался глухой взрыв. Потом он напавился к нам. Черная бурна развевалась на бегу.

Я все сжимал в руках холодный автомат. Спокойно и неподвижно лежали в гнездах пули — чья-то смерть и моя жизнь.

Из сторожки высоко в небо взметнулся огромный язык пламени — точно красное знамя.

«Не каждый, кто падает, — побежден».

Вот и Джондо. На лице его — ни радости победы, ни страха. Он тяжело дышит.

— Ну, все, — произнес он. — План перевыполнен. Им здорово досталось. Вы молодцы, что послушались меня. Трех сразу они бы легко обнаружили.

— Нет, ты послушай, он нас благодарит, — с улыбкой сказал я Майе.

— Пора нам отсюда сматываться, — не отвечая мне, сказал Джондо. — Это был, видно, передовой отряд, разведка. Следом может прийти более внушительная сила. Такие вылазки они называют «чисткой леса». Теперь их не просто провести. Плетью обуха не перешибешь, а зря стинуть нам никак нельзя. Пошли, ребята!

Мы ушли уже так далеко, что не видно было дыма горящей сторожки.

— Теперь я с вами распрощаюсь, — проговорил вдруг Джондо, когда мы достигли широкой просеки. — А вы, поскольку ваш путь лежит в Керчь, спускайтесь на равнину.

Нотки сожаления прозвучали в его голосе, и мне стало его жаль.

— Пойдем вместе, Джондо. Ты же выполнил свою клятву, давай доведем до конца общее дело. А кто старое помянет, знает...

— При чем тут старое! Я же тебе все объяснил. И вообще нам лучше разделить — если кто за нами вздумает следить — запутается. А я свой счет снова поведу. Кроме того, мне надо проведать этих горемык — Петра с сыном. Немцы и туда могут сунуться, надо перебросить их в другое укромное местечко. А потом, бог даст, нагоно я вас где-нибудь.. Ну, счастливо, берегите себя, сторонитесь больших дорог, для ночлега выбирайте деревни поглуше да поменьше. В деревне нынче, пожалуй, легче скрыться, чем в лесу. Лес для фашистов представляет большую опасность, они стараются его чаще прочесывать. До свиданья!

Он ушел. Ушел, не оглядываясь, решительным, быстрым шагом. Я проводил его взглядом, пока он не скрылся из виду. Потом повернулся к Майе. Она стояла, опустив голову.

— Пойдем, Мириан? — спросила она.

— Пойдем. Эх, точно завещание он нам оставил...

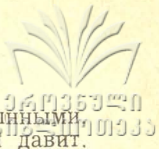
— Он нигде не пропадет. Вот посмотришь, он нас еще догонит.

Я шагаю молча, и перед глазами моими мелькают три образа: Джондо в черной развевающейся бурке, горящая сторожка и голубые глаза родника.

— А Цамцидзе? Мы его так и не донесем больше? — остановившись, проговорила вдруг Майя. — Может, и о Валико что-нибудь бы узнали...

— Теперь уже не время. Если бы мы смогли это сделать раньше, было бы хорошо, а теперь уж нельзя. Ты же знаешь, нельзя нам с пути сворачивать.

ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК



Места, где прошел фронт, надолго остаются безлюдными и пустынными. Мертвая тишина изрытой взрывами земли ужасающа. Она оглушает и давит.

На равнине снег кое-где растаял, мокрая, размякшая и тяжелая земля липнет к сапогам целыми пластами. Идти невероятно трудно, ноги вязнут, каждый шаг дается с борьбой. Точно колодки надела на нас земля.

А мы и без того измучены, измочалены всем пережитым, долгой дорогой, бессонницей. Свинцом повис на веках сон, на ногах — земля. Но мы не сдаемся, мы шагаем вперед.

Рассветает. Туман лежит на равнине. Смутно, неясно вырисовывается вдали деревенька. А может, и большое село. Постепенно мы приближаемся, и я уже различаю: околица, направо, вглубь деревни, тянется улица, налево, за неглубоким овражком — одинокая усадьба. Петухов ниоткуда не слышно — говорят, немцы всю птицу истребили.

Я прислушиваюсь к тишине, к шагам украдкой уходящей ночи. А где-то на востоке плухо грохочут пушки. Небо на горизонте временами освещается всполохами.

Во двор крайней, ближней к нам хаты вышла пожилая женщина. В руках у нее — ведро. Женщина подошла к колодцу, достала воды, поставила ведро на землю и приздумалась.

Мы подошли совсем близко.

— Здравствуй, мать!

Женщина вздрогнула, попятилась и, толкнув ведро, опрокинула его. Увидев нас, она проговорила торопливо:

— Господи, боже мой, вот напугали-то! Чего вам, воды, что ли?

— Нет, матушка. Ты скажи, немцы есть в деревне?

— Дня три уж не появлялись. Заглядывают изредка, а так не стоят.

— Полиция есть?

— Откуда ж, мужиков нету.

— Значит, и старосты нету?

— Нету, сынок. Назначили одного, а он и ушел. Когда отымать что надумают, так с соседнего села старосту присылают.

— А что, фронт далеко отсюда?

— Кто его знает, одни так говорят, другие этак, а наверняка никто не знает. Пушки слышны, это верно, днем и ночью палят. Я хоть и туга на ухо, а все равно слышу.

— Дома-то есть у тебя кто?

— Одна я, как бирюк, живу.

— А может, приютишь нас? Дня на два, не более...

— Отчего же, это можно... только лучше вам за овражек податься. Немцы обычно сюда ходят, а в той хате, за овражком, вам надежнее будет. Кроме того, скажу прямо: у меня и есть-то нечего, ни муки, ни зерна. Сама я картошку мерзлую откапываю, какая в поле осталась, тем и перебиваюсь. А Настя — она баба запасливая, у нее кой-чего прибережено. Подите к Насте, скажите — тетка Марфуша нас прислала.

К Насте я отправился один — мало ли что, вдруг там кто-нибудь окажется, зачем вдвоем пропадать. Майя ждала меня в овражке.

И вот я у калитки. Осмотревшись, вошел во двор. Тишина, безлюдье — словно здесь никто и не живет. «Спит, наверное», — подумал я и робко постучал в дверь. Никакого ответа, никаких звуков из-за двери. Постучал еще, уже громче. От стука дверь отворилась сама — оказалась не заперта. Я вошел в хату — и здесь никого. Тогда я направился к сеновалу и тут-то увидел хозяйку — она работала в огороде, копала лопатой грядки. Стояла она спиной ко мне. Я последил за сильными движениями ее рук, за тем, как пласт за пластом ложилась под лопатой взрытая земля. Женщина не оборачивалась. Я подошел к огородной калитке и кашлянул. Она оглянулась, но меня не увидела и продолжала свое дело. Я кашлянул громче, она повернулась резко всем телом и встретилась взглядом со мной.

— Здравствуйте, хозяйка, можно вас на минутку? — махнув рукой, позвал я.

Она всадила лопату глубоко в землю и решительно зашагала ко мне.

Было ей около тридцати. Не боясь утреннего морозца, работала она в одном, довольно тесноватом платье.

— Доброе утро, солдат!

— Здравствуй, Настя!

— Ого, откуда ты мое имя знаешь?

— Тетка Марфуша сказала.

- Что, из плена бежал?
- Не-е, из окружения... разбили нас...
- Ночлег, небось, нужен?
- Ага, на две ночи, Настя, больше не побеспокою.
- А из каких ты краев будешь?
- Из Грузии, слыхала? Грузин я.

— Я немного знаю по-грузински, — коверкая грузинские слова, она лукаво улыбулась. Потом счистила с сапог приставшую землю и направилась ко мне. — Ночуй, сколько хочешь. Есть у меня и банька, можешь попариться...

Большие, широко расставленные зеленые глаза внимательно смотрели на меня.

— А ты сама русская, верно? — спросил я лишь для того, чтобы стряхнуть охватившую вдруг меня неловкость.

— Во мне всякой крови понемногу, — отвечала она, продолжая меня изучать. — И русская есть, и греческая, и грузинская. Одна бабка у меня была гречанка, другая — грузинка.

— Ты чего, одна живешь, что ли?

— Одна. Война, будь она проклята, забрала мужа, а больше никого у меня нет. Вот и живу одна-одинешенька, словом не с кем переброситься.

— Боязно одной-то?

— Чего бояться! — она усмехнулась. Уверенность и сила были в ее взоре, которым она обвела свои владения. — Не из трусливых. У нас здесь многие убежали со страху, все свое хозяйство побросали. А я и с места не стронулась. Здесь мой дом, моя земля, куда мне идти? И зачем? Друга дружески встречу, врага — по-вражьи. Были тут фашисты, да бог миловал, пронесло. Я на своем веку много повидала...

Видно было, что она по живому слову стосковалась — говорила, говорила, рассказывала о своем житье-бытье, казалось, мало заботясь, интересно мне слушать или нет.

Муж ушел на фронт с первого дня войны да и пропал — ни слуху, ни духу. Может, и погиб.

— Иначе обязательно написал бы, — убежденно сказала она. — А может, соседи и знают, может, пришла она, похоронка-то, да скрыли от меня. Жалеют — я ведь только-только замуж вышла, совсем мало мы с ним прожили — и на тебе! И никого у меня больше нет на свете.

— Жив он, Настя, да не до писем сейчас, — обнадежил я ее обычными в таких случаях словами.

— Дай-то бог!.. Ну, а тебя как зовут?

— Мирианом зовут, запомнишь?

Она кивнула.

— Пошли в дом, чего здесь стоять, — спохватилась она, — небось, устал, намаялся. Идем, идем, поспишь, отдохнешь...

— Знаешь, Настя, а я ведь не один. В овраге товарищ меня ждет...

— Пусть придет. У меня в избе три горницы, как-нибудь три человека уместятся, а? — она засмеялась, приоткрыв ровные крупные белые зубы. — Верно, голодные?

— Да, не без этого.

— Испеку хлеба, наскредеу еще кой-чего... Поди, поди, приведи его. А огород потерпит малость. Потом, при луне, вместе вскопаем.

Она встретила нас уже в другом, чистом и нарядном платье, с красиво убранными волосами. При виде Майи она изменилась в лице и с явным неудовольствием спросила:

— Это кто же такая? — и, окинув Майю придирчивым взглядом сразу холодевших глаз: — Откуда взялась?

— Это и есть мой товарищ, — несколько оробев, проговорил я.

— Сколько же вас тут?

— Двое. Я же сказал тебе — товарищ со мной. Я и она, Майя.

— Девка? Товарищ?!

Майя стояла растерянная, но все же сказала ей «здравствуйте».

— Здравствуй, — пренебрежительно бросила она и обратилась опять ко мне. — чего же ты сразу мне не сказал?

— Разве что-нибудь изменилось, Настя? — тихо и почему-то виновато проговорил я.

— Ничего не изменилось?

— Ничего.

— Ладно уж... Располагайтесь. Вон туда идите, в соседнюю горницу.

Мы пошли туда. Холод несусветный. Пустая рама в одном окне заткнута подушкой, в другом взад-вперед гуляет ветер.

— Настя, а окна как же?

— Чего? А-а... Да разве теперь стекла сыщешь!

— Хозя бы картонкой заделать или фанерой...

— Как только двери сткрою, ветер сквозной бьет и все срывает. Ничего, вы же солдаты, солдату холода бояться не положено.

Мы сложили вещмешки в угол. Майя села на лавку.

Хозяйка заложила в печь сено, разожгла огонь, занялась своими делами.

Наконец она испекла хлеб. Все с тем же мрачным видом разломилла его на две части и одну швырнула нам. Затем она приволокла из чулана ручную мельницу, водрузила ее на стол.

— Есть хотите?

— Да что же... потерпим...

— В конституции сказано — «кто не работает, тот не ест», — не дослушав меня, назидательно проговорила она. — Давай смелем с тобой пшеницу. Погляжу я, какой ты молодец. — Она засучила рукава, уселась за мельницу и принялась ее вертеть. — Ну, чего смотришь-то, берись за работу!

Я тоже засучил рукав, подсел к ней. Рукоятка жернова как бы мостиком соединила наши руки.

Мерно вздымается и опускается полная грудь. Точно волны на море. И незримые тяжелые волны набегают на меня и, не коснувшись, отступают, откатываются назад. Я всячески стараюсь избежать соприкосновения с рукой Насти, она же, напротив, явно стремится к этому.

В открытую дверь вижу — Майя в тазике стирает носки.

Я вращаю жернов. Сижу с опущенной головой — чтобы не видеть ее грудь. Но вижу руку — крепкую, полную...

— Чего на руку уставился, думаешь, кроме руки, у меня начего нету? — говорит Настя, не прерывая работы. Говорит и улыбается своей лукавой улыбкой, а грудь колыхнется, вздымается и опускается плавно, и какой-то туман застилает мне глаза.

— Руки у тебя сильные, это оттого, что ты на земле работаешь, с землей борешься... — слышу я свой голос откуда-то издалека.

— Ага. Я люблю землю и все то, что она любит, — и пахоту, и сев, и жатву, и солнце, и дождик — все люблю... лентяев и растяп не люблю, это да. — И, без видимой связи: — Хочешь, давай мы с тобой силами померяемся — у кого рука сильнее, а?

Я с остервенением завертел рукоятку, так, что жернов заходил волчком. Настя схватила меня за руку:

— Не так! — она уперлась локтем согнутой руки в столешницу: — Вот как. Давай руку-то!

Я тоже уперся локтем в столешницу, и пальцы наши переплелись. Настя сразу поддалась, и рука моя ударила ее в грудь.

— Чур, не считается! — засмеялась она. — Впрочем, один ноль в твою пользу, солдат! Начнем сначала!

И вдруг — как гром над головой:

— Я думала, вы зерно мелете, а вы силой меряетесь?

Это Майя. Я не услышал, как она вошла, как встала над нами. Точно ужаленный, я отдернул руку.

— Не лучше, Мириан, если мы с тобой за мельницу усядемся, нашей хозяйке и без того дел хватает.

— На сегодня муки больше не надо, девушка! — Настя опять насупилась и, взяв в руки миску с мукой, направилась в чулан.

Я опорожнил свой вещмешок, набил его мякиной и заткнул дыру в оконной раме. После чего мы постелили «постели» — я себе, в одном углу, Майя себе, поближе к двери.

— Ого, раздельно спите? — заглянув к нам, усмехнулась Настя.

— Майя мне родственница.

— Расскажи кому-нибудь другому! — она поддела меня локтем в бок. — Среднюю дверь я не запираю.

— Как хочешь.

Прощлую ночь мы почти не спали. Сейчас, едва успев положить голову на подушку, я провалился в сон без сновидений.

Пробудился я поздним утром. В комнате никого. Я встал, оделся, вышел в соседнюю комнату. Настя — туча прозовая — варит кашу. Во дворе Майя у колодца умывается. Настя — мне, вместо приветствия, с упреком:

— Крепко спишь, пушками тебя не разбудишь.

— Уставший был я сверх меры.

— Девчонку совсем замучил. Всю ночь ворочалась, словно на горячих углях. Да что, молодая, понятно... кровь-то кипит. Родня она тебе, говоришь? Хе-хе...

— Родня, да...

— Штаны носит, так думаешь, вовсе в парня превратилась?

— А тебе не все равно?

— Да мне-то что! Только зря вы мучаетесь — никто вам не поверит...

— Пусть не верят. Главное — перед собой правым быть.

— Реку не остано́вишь. Запрудишь ее — все равно разнесет все запруды и помчится своей дорогой.

Мы с Майей предпочитали не вылезать из избы и коротали время, перечитывая «Вепхисткаосани» — больше читать было нечего. Потом Майя вздремнула. Я вышел на порог и стал разглядывать местность. Настя поднялась на крылечко и — не знаю, случайно или умышленно — споткнулась, ухватилась за меня, чтобы не упасть. Прижалась всей грудью, обвила меня руками. На какое-то мгновение мы оба замерли. Взор мой скользнул по ее лицу и упал на грудь. И я почувствовал, как земля ушла из-под моих ног.

— Ого, а ты не из робких! — она ласково потрепала меня по щеке и отодвинулась. — Я думала, ты совсем невинный, даже жалела тебя. Ну, ну, успокойся! Пошли со мной в погреб, помоги, а то не управлюсь, бочки тяжелые, надо переставить. Чего испугался, не съем!

Я колебался. Не отозваться, когда зовет женщина, — оскорбительно для мужского самолюбия. Пойти...

«Пойду, черт с ним! Чему быть, того не миновать! Хотя...»

А зеленые глаза — как пучина морская, в которой я вот-вот утону.

— Чего бледнеешь? Не бойся, в погребе я немца не прячу...

— Тебе на земле уже тесно, под землю лезешь? — услышал я Майин голос. Господи, да что это, во сне ей, что ли, привиделось!

— Пусть поможет мне немного, одной трудно там управиться, а от него не убудет, — за меня ответила Настя.

— Ты спускаешься?

— Приютила она нас, как я могу... — потупившись, пробормотал я.

— Приютила она и меня, — резко проговорила Майя. — Пойдем, Настя, я тебе помогу.

— Мне твоя помощь ни к чему. Там мужская рука нужна, а вообще отстаньте от меня! На грех вас принесло!..

— Если понадобится, мы позовем Мириана, — спокойно сказала Майя. — Идем, идем.

Настя начала спускаться по лестнице в погреб.

Они принесли из погреба большую миску квашеной капусты. Друг с другом они не разговаривали. Я тоже молчал. На Майю я не мог глядеть, словно тяжело провинился перед ней.

Настя не выдержала, разворчалась. Постепенно она дала волю чувствам — стучала дверью, выгнала ни в чем не повинную кошку, разобрала ручную мельницу, с грохотом бросила жернов на стол, потом вышла во двор. Подойдя к колодцу, она изо всей силы дернула журавль, но бадью не вытащила. Я в это время стоял на пороге, и она, не видя меня, вдруг обернулась.

— Что же ты, голуба душа, не ложишься спать, свечерело уж, пора, — глядя на меня в упор злыми глазами, сказала она.

— Да что спешить, успеем.

— Чего ждете?

— Я думал, может, из той муки, что мы вчера смололи...

— А-а, дармоеды, ужинать захотели?

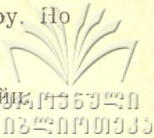
— Мы, по правде говоря, и не обедали, — стараясь ее умаслить, как можно мягче проговорил я.

— Может, еще беленького хлеба попросите? Нет у меня ничего, понятно? Буду я всякого бродягу кормить! Лучше уж кабак открою, хоть не за зря... Может, перед сном и молочка тепленького захочешь? — она вдруг рванула ворот платья и выставила грудь. — На, ешь, агу, агу! А другого ничего у меня нет! Понял! — голос ее сорвался на крик, а я стоял оглушенный, униженный, смотрел на нее, и мне было нестерпимо больно и стыдно чего-то.

— Ах, не нравится?! — она с трудом зачихала грудь в тесное платье. — Да, мне тоже много чего не нравится, а вот терплю, голубь, терплю. А теперь не стану терпеть! Не нужны мне такие постояльцы, уматывайте отсюда. Слышь, что говорю?!

Я молча вернулся в дом. Майя сидела, нахмурившись. Счастье, что она не видела этой сцены — совсем бы с ума сошла.

Стемнело. Майя постелила постель и легла. Я последовал ее примеру. Но если она тотчас уснула, я и задремать-то не смог.



— Вставай, Мириан, будет тебе спать! — звучит надо мной голос Майи. Вставай, надо идти.

Я открыл глаза. Совсем светло.

— Куда идти-то? День на дворе. Чего же ты меня раньше не разбудила, — пробурчал я и стал натягивать сапоги.

— Не знаю, куда идти, но здесь нельзя больше оставаться. Она мне воды и то не дала, понимаешь? Как проснулась, давай меня костылять на чем свет стоит, только что в лицо не плюнула да не стукнула. Убирайтесь, говорит, чтобы духу вашего здесь не было.

— Сейчас нельзя уходить, Майя, надо как-нибудь до вечера протянуть.

— Пойдем, Мириан, будь что будет. Наконец, мы можем до вечера обождать у Марфуши!

— Это да, это ты хорошо придумала!

Тут вошла Настя и обрушилась на нас.

— Вы все еще здесь?! Праведники швыбые, ангелы запаршивевшие, вы что, воображаете, мой дом для вас строен?! Собирайтесь, да поживее! — Она пнула ногой наши вещмешки. — Или здесь решили войну довоевывать? Только моему мужу за родину гинуть? Живо! Буду я еще за вас головой своей рисковать! Хватит, сколько моей дуростью попользовались, донести на вас надо было, вот! Откуда я знаю, что вы за птицы! Вон отсюда, вытряхивайтесь!..

В момент затишья, пока Настя переводила дух, в окошко кто-то постучал. Я вскинул автомат и услышал:

— Мириан, черт тебя дери, опусти свою пушку, я же это, Джондо!

Миг — и он ворвался, как вихрь, швырнул на пол свой вещмешок и загремел:

— Никайший поклон жениху и невесте! Дружки прибыли! — и, как всегда, засверкали в улыбки белые зубы. — Думали, потеряю вас, со следа собьюсь? Я ночевал у тетки Марфы, она мне про вас и рассказала. Ну, как живете-можете?

— Мы вроде ничего. Да и ты, брат, хорошо, видно. Ты вообще двужильный.

Джондо довольно захохотал и обратился к Майе:

— Ну что, все еще на меня дуешься? Не рада видеть-то?

— Что ты, Джондо, очень даже рада! Мы тебя все время ждали.

— А что Петр с Кузьмой? — спросил я.

— С ними все в порядке, братцы.

Приход Джондо встревожил и взбудоражил Настю. И опять ни с того, ни с сего досталось бедной кошке, опять загремели горшки и котлы. Джондо, с любовью-любовством поглядывая на нее все это время, заметил:

— Ну и ведьма у вас хозяйка! Что это ей не по нраву? А бабенка ничего, аппетитная, а? — он засмеялся. — Право хороша, только чего она бесится?

Настя глянула на него искоса. И вдруг усмехнулась — верно, поняла, что речь идет о ней.

— Я голоден, как стая шакалов, — продолжал между тем Джондо. — Пожевать есть что?

— Ни черта.

— Голодаете? А хозяйка? Такая смупердяйка? Неужто ничего у нее нет?

— Для нас — ничего. Спроси, может, для тебя расщедрится.

— Ее, кажется, Настей зовут?

— Да, Настей.

— А Марфуша говорила, будто она баба добрая и заправная. Посмотрим...

Он повернулся к Насте.

— Милая хозяйка, кушать есть? — коверная русские слова, обратился он к ней. — Моряк голоден, как волк, полундра!

— Нет ничего. Ни хлеба, ни мяса, — хмуро, не глядя на него, ответила она по-грузински.

— Эге, да она и грузинский знает? — обрадовался Джондо.

— У нее бабка грузинка была, — пояснил я.

— Да ну?! — Джондо подскочил к ней, заглянул ей в глаза,

— У-у, чтоб вас намочило да не высушило, черти океанские, и когда уже вы уберетесь! — выпалила ему в лицо Настя и сердито отвернулась.

— Чем это вы ей так досадили?

— Не знаю... не по душе мы ей, и все.

— Хозяюшка, ты ведь одной с нами крови, не пристало тебе гостей так встречать, — не смущаясь, опять обратился к ней Джондо и положил ей руку

на плечо. Она не шелохнулась, бровью не повела, точно и не почувствовала. Тогда он обнял ее за плечи, прижал ее голову к своей груди и, ласково заглядывая в глаза, елеинным голосом сказал: — Голубушка, неужели голодными нас выпроводишь?

— Муки нету, не из золы ведь хлеб печь. — Настя высвободилась от объятий. — Давай, давай, с ними вместе убирайся отсюда!

— Не брешь, мать, на голодную ты не похожа, ишь морда-то какая гладкая! Есть у тебя мука.

— Ну и есть, и что же?

Джондо нахлобучил свою бескозырку по самые глаза и проговорил медленно, значительно:

— Я тебе такое платье подарю — ахнешь. Шелковое, цветастое...

— С кого содрал? — недоверчиво покосилась на него Настя.

— У немца в сумке нашел.

— Сдались мне чьи-то оboзки, дай бог свое сносить.

— Ишь ты какая, а? — Джондо опять обнял ее. — И не совестно тебе таким людям, как мы, в куске хлеба отказывать?

— Вон мельница. Принесу зерно — смелешь сам, — недовольно сказала Настя.

— Ну вот, давно бы так! — Джондо потрепал ее по щеке.

Настя вскоре принесла зерно и порожнюю миску для муки.

— Ты и вправду баба хорошая. Не зря тебя Марфуша нахваливала, — Джондо взял ее за руку. — И добрая, говорит, и работающая, и за себя постоять сумеет, и подсобит...

— Ладно, ладно... Как звать-то тебя, я не расслышала?

— Джондо.

— Чонда?

— Валяй, как хочешь, так и зови.

— Нечего глазами, словно бугай, ворочать. Вот погляжу я, какой из тебя работник.

Они мололи зерно вдвоем — как вчера я с Настей. Джондо с ней заигрывал по-своему, Настя отвечала тем же.

— Хозяюшка, я сам с этой штуковиной справлюсь, лоди-ка ты баньку мне истопи, а? — сказал Джондо.

— Вместе истопим. Дров нет, ты сперва мне дрова накопи. Знаешь, пойдем, а зерно и наши праведники смелют. — Она повернулась ко мне. — Вы, труzni! Ваш черед теперь. Жрать, небось, охота, вот и потрудитесь. А потом хлеб спекете.

Отдав эти распоряжения, Настя вынесла из чулана большой ломоть хлеба и еще какую-то снедь, завернутую в просалившуюся бумагу, подмигнула Джондо, и они ушли.

Мы с Майей уехали за мельницу. Не спеша, со скрежетом завертелся жернов, крошилось зерно. Я время от времени поглядывал в окно. Джондо нарубил и наколот дрова. Настя проворно собрала охапку и унесла в баню. Джондо подобрал оставшиеся поленья и последовал за Настей. Вскоре из узенького оконца бани повалил дым.

Майя испекла хлеб, прибрала все и ушла, уткнулась опять в книгу.

Наконец снаружи послышалось пение Джондо, стукнула дверь в сених, и свалился он сам, чистенький, выбритый, румяный.

— Напарился? — спросил я.

— Лучше не бывает. Знатная у нее банька, прямо царская!

— Ты зверь. Взял крепость с первой же атаки, — не без ехидства заметил я.

— Говорил я — иди ко мне в ученики, ты не хотел. Да на кой мне сдавалась женщина, ежели я по ней годами вздыхать буду да мелким бесом стелиться? Времени уже ни на что не останется, ни на ласку, ни на любовь. Орденов и наград мне не надо, хоть бабу к сердцу прижму, черт побери!

Настя долго не было. Наконец она вышла из бани, подошла к дому. У порога, уткнувшись мордочкой в лапки, лежала обиженная кошка. Настя нагнулась, подняла ее на руки и вошла с ней в дом.

— Кисюля ты моя, кисанька, кто тебя обидел? — напевно говорила Настя, лаская кошку. — Голодная, небось?

Лицо Настя — словно озеро спокойное. Смуглая кожа на скулах отсвечивает легким румянцем. Глаза светлые, ясные.

— Вот ведь какие вы молодцы, — обратилась она к нам. — И зерно смолоти, и хлебов напекли. Ух, и попируем же мы!

Она начала собирать на стол: принесла квашеную капусту, соленые огурчики, немного солонины и копченой гусятины. Ко всему этому добру Настя прибавила две бутылки водки.

— Собственная, — с гордостью отметила она. — Садитесь, милые, садитесь, угощайтесь.

Мы не заставили себя просить. Настя налила себе стаканчик водки и, проговорив: «Ну, братцы, будем!», опрокинула его, осушила одним духом.

Джондо поднял свой стакан:

— Ну, други, кыбче я с особым вкусом пью за адамово ребро! Настя, золотко, будь здорова, хозяйюшка наша!

— Пейте, пейте! Грейтесь — кровь у вас стылая, водочка огонька поддаст.

А меня одолевает беспокойство — не приведи бог, немцы явятся, загремит к чертовой бабушке не только наше застолье.

Настю быстро разобрало. Она смеется, тут же бросается в слезы, проклинает невесть кого, ругает. Она выпила еще и еще и после уже как-то успокоилась — первый хмель прошел. Она потянулась налить очередной стакан нам с Майей, но мы отказались.

— Не буду неволить. Эту водку мы с Чондой допьем. Помирать, так с музыкой!

Они и пили вдвоем. Пили, говорили, обнимались, целовались, смеялись. Джондо даже запел, мы не поддержали его.

— Чего не подтягиваете? — обиделась хозяйка.

— Не до песен, горе у нас.

— Кыбче у всех горе, значит, и не петь никому? Мы, что ли, виноваты в том, что война? — запальчиво выкрикнула Настя. — А я петь хочу! Та-ра-ра-ра-ра, Сулико, — запела она с вызовом. — Та-ра-ра-ра-ра, Сулико! Я и грузин люблю, и песни грузинские! Мне и петь, и плясать охота! И-эх! — она вскочила, побежала в чулан, притащила оттуда раздолбанную старую гармонию. — Распрягайте, хлопцы, коней... — запела она, не в лад подыгрывая себе на гармонии. — Чего молчите? Чонда, ты-то чего не подтягиваешь мне, сокол? — Она обняла Джондо за шею, потом запела «Яблочко» и пустилась в пляс. — Пляшите, эй, вы, пляшите, черти! — Она расхохоталась. — Бойтесь меня, небось? Ну, правильно, меня бояться надо, не то обожгу, ой, как обожгу! Ха-ха-ха! Чего же вы не плясаете? Не охота? И не надо! Я сама, сама и петь буду, и плясать буду! Вам ничего не надо, ни хлеба, ни песен, ни пляса — праведники, ангелы! — Настя подбежала ко мне, взяла меня за плечо, заглянула в лицо: — А ты... зря ты усы-то отпустил... На грузина ты вовсе не похож!

— Не права ты, Настюшка, — заговорил Джондо. — Мириан, знаешь, какой парень! Он лучше меня.

— А чем это он лучше? Честный больно? На кой мне его честность? Вред от нее один! Этой честностью он глупость свою скрывает и слабость...

— Помолчи, Настя, — сказал Джондо. — Если бы твой муж был дома, с тобой, ты бы не ругала Мириана, верно?

— «Если бы, если бы»!.. Почем я знаю, что было бы, «если бы»! Не гадалка я! — Настя взяла Джондо под руку и прижалась к нему. Вдруг она перехватила мой взгляд и вскинулась, загорелась: — Что смотришь? Что вы меня, святостью своей прельщаете? Ну и прельщайте! Только я баба, во мне кровь кипит!..

— А вдруг твой муж узнает о твоих делах, с каким сердцем он воевать будет? — спросила ее Майя.

— Я разве эту войну начала, я своего мужа на фронт послала!

— Мужа твоего долг и совесть на фронт послали. А ты его обманываешь, — выпалила Майя.

— Э-эх! — стоном вырвалось у Насти, словно болело у нее что-то внутри. — Эх! Да разве меня никто не обманывал? Пропали оно все пропадом! Как себя помню — все обманывали. Погоди, Настя, подрастешь — лучше будет, — говорили мне. Погоди еще немного — хорошо будет, Настя. И я ждала. А все опять же плохо было. Подожди, будешь счастлива, подожди, что посеешь, то пожнешь — твоим будет, говорили, говорили!.. А вот что стало моим, видали?!

— Настюшка, полно тебе шутить, — попытался успокоить ее Джондо.

— Какие шутки? Вот все в шутку обратили, потому так оно вышло! Пошутили — и оставили меня сиротой, кулаки, мол, твои родители! Пошутили... Только замуж вышла — с грехом пополам, кулацкая ведь дочка! — только отогрелась — и отняли у меня мужа, живи Настя, как хочешь! Да пусть кто хошь меня судит, я человек, я хочу по-человечески жить, и мужа хочу, и детей хочу.

все хочу! — Она разрыдалась. — Все меня обманывали, и я обману, кого смогу! Хоть мужа своего обману, ведь он меня наверняка обманет, зачем мне перед ним в долгу оставаться! Ежели вернется — все равно не поверит, что я была ему верна, когда кругом такое творилось. Все равно не поверит. И я ему не поверю, если он станет мне про свою верность врать. Оба мы для виду только поверим, а про себя будем знать — война, по-другому и нельзя было. Неправду разве я говорю, Чонда?

— Правду, правду говоришь, разве ты неправду скажешь, — успокоил ее Джондо.

— А коли грех то, что я делаю, не боюсь я такого греха и не каюсь. У кого два легких, а у меня все четыре. Мне больше воздуха надо. А мне говорят — одним легким дыши. Задохнусь! Чонда, обними меня! Нынче наш день, может, всего этот один день нам и остался, а все наши он... Может, мы для этого одного дня и пришли на свет, кто его знает! Сейчас честь свою все равно не сбережешь, либо пуля тебя прихлопнет, либо моль эту честь сожрет — нафталина-то нету! — она расхохоталась зло, грубо.

— Верно. Пуля в нафталине не нуждается, — подтвердил Джондо.

— И зачем меня господь бабой создал? Зачем жилы мои кровью горячей наполнил, коли положил мне в одиночестве маяться... Война идет — страшная, смертоубийственная... Все рушится... Но ведь после все заново будет строиться, по-другому, по-хорошему... Да чего вы молчите, чего? Ты-то что скажешь? — она ткнула в меня пальцем.

— Я солдат, и муж твой солдат, и я его сторону держу.

— Бедный солдат! А меня-то никто не жалеет?! Солдат! Да я тоже солдат, только здесь, у себя дома... А мой муж... Пусть он только вернется, мы с ним уж как-нибудь сговоримся... Да вы что думаете, кто я?... Да я...

— Ну, опять слезы!.. Чего она плачет? — пробурчала Майя.

— Тяжело ей, Маичка, и горько за себя... Да еще на вас глядит — совсем тошно делается.

— Вот если немец сунется! Близо не подпущу проклятых! — сквозь слезы, с ненавистью проговорила Настя.

— Если спросят тебя!

— А ну пусть не спросят! Пусть посмеют! И топор у меня есть острый, и пуля! Знаете, какой у меня карабин припасен? И стрелять я умею. Идем во двор, я вам покажу, как я стреляю!

«Этого недоставало! Настя тут пальбу устроит и немцев зазовет — идите, мол, поглядите, что и как».

— Ну, чего приумолкли? Патроны у меня есть, не поскуплюсь.

— Патроны и у нас есть, Настя, только темнеет уже, завтра постреляем.

— Ладно, будь по-твоему! Завтра так завтра. А хочешь — послезавтра. Как скажешь. — Она вдруг смягкла, как мяч, из которого выпустили воздух, и, пошатываясь, направилась к столу. — Пить хочу, нутро пересохло! Теперь будем веселиться, — объявила она и тронула гармонь. — Ежели смерть нам написана, с песней помрем! А вы... вы опять будете меня святостью своей дразнить, праведники? Я вас тоже подразню, да не святостью, ха-ха, святости во мне не ищите! Чонда, поцелуй меня, петь — не поешь, так хоть целуй!

Майя встала с каменным лицом, вышла в нашу комнату, я пошел следом за ней и притворил дверь.

Майя зачерпнула котелком воду, шумно выпила. Что осталось в котелке, она плеснула себе в лицо.

— Мириан, ты не слушай, что говорят... Спи, рано утром мы уйдем отсюда.

— Надо мной все смеются...

— Никто не смеется. Я не смеюсь. А на всякий чих не наздравствуешься, понял? Думай о том, что нам предстоит. Интересно, как твоя сестра? Верно, беспокоится о тебе... Как только доберемся до наших, я ей напишу. Напишу про все наши приключения, напишу, как ты берег ее косынку... про то, какой замечательный брат... Хочешь воды?

— Не хочу я воды!

— А мне вот пить до смерти хочется.

Долго еще я лежал без сна. Потом мне почудился шум какой-то — будто волны морские разбиваются о скалы. И звон стоит — будто тихо-тихо бьют в колокола...

Я проснулся. Ставни открыты. Майя стоит у окна, в которое заглядывает бледный свет. Через плечо у нее перевешен автомат, который она ласково поглаживает рукой. Потом поправляет косынку на голове.

— С добрым утром, Майя!

— Мириан, мы пойдем все вместе? — возмущенно взглянула на меня Майя и почему-то ухватилась за мою руку.

— Чего ты испугалась, Майя, — усмехнулся Джондо. — Как скажешь, так и будет.

И разошлись наши пути — во второй раз. И мы, и они пошли только разными дорогами.

— Устала, Майя?

— Нет, — отвечает она, тяжело переводя дыхание.

— Еще немного — и мы будем в безопасности.

Мы ползем, ползем без остановки, без передышки. Где-то позади взвились в небо три ракеты — красная, зеленая и желтая. Неужели немцы переходят в наступление? До рассвета пока далеко, а ведь они ночью обычно не воюют...

Вчера мы преодолели довольно серьезную преграду — реку. Равнина, по которой мы передвигаемся, то и дело меняет цвет. Ракеты? Нет, не ракеты: смерть окидывает взглядом равнину, выискивая чем бы поживиться. Где-то стреляют трассирующими пулями, вероятно, обстреливают самолет. На черном небе пули вспыхивают огненными цветами. Красиво, черт возьми!

Перед нами, шагах в ста, разорвалась мина. Огненный фонтан осветил тьму. И как по сигналу начался такой грохот, будто по клавишам гигантского рояля забегали дэвы в кованных сапожниках. Снаряды врвтся, стонет земля, сверкают огненные прочерки пуль.

— Майя! А, Майя!.. Где ты?

— Не бойся, все в порядке!

До наших — верно, метров пятьсот, не более. Умереть сейчас — горше всего. Умереть и похоронить с собой тех, о ком уже некому будет рассказать...

«Осталось шагов, вероятно, триста... Триста шагов... Триста спартацев... Триста арагвинцев... Триста секунд... самые трудные секунды... Волосяной мостик над пропастью — вот что такое эти триста шагов. Если мы их одолеем, значит — спасены. Спасены и мы, и наши ребята...»

Эге! Да мы очутились перед землянкой!..

— Майя, видишь, как повезло? Укроемся здесь до рассвета...

Мы вошли в землянку. Где-то совсем близко разорвался снаряд, и на головы нам посыпалась земля.

Вокруг — сущий ад. Грохот, рев, свист, содрогается земля, а мы сидим, притаившись, в этой землянке, и только на головы нам сыплется влажная тяжелая земля. Вспышки ракет проникают сюда и озаряют голубые глаза Майи. И мне радостно оттого, что я могу смело выдержать взгляд этих глаз.

— О чем ты задумалась, Майя?

— Ой, такая глупость пришла мне в голову, смеяться будешь!

— Хорошо, если бы ты и вправду смогла меня сейчас рассмешить...

— Знаешь, мне вдруг захотелось вернуться в нашу сторожку... Будто она и не сторела... Тебе никогда не хотелось вернуться туда?

— Когда-нибудь мы вернемся, Майя. Там снова будет стоять лесничья сторожка... И так же будет струиться родник...

— Вы арестованы!

— Почему?! Что мы сделали?

Майя молча смотрела на сержанта широко расширенными изумленными глазами.

— Не знаю, там разберутся, — невозмутимо отвечал мне сержант.

Утром, когда мы наконец увидели наших, радости не было границ. Мы считали, что теперь уже свободны и счастливы. Оказалось, не все так просто.

Первым делом нас разоружили. Потом обыскали. Потом этот самый сержант с автоматом на шею бесстрастно объявил нам:

— При попытке к бегству стреляю без предупреждения.

— Куда нам бежать?! Зачем?

— Не знаю. Я обязан вас предупредить, дальше — ваше дело. Ну, шагом марш!

И мы шагаем по пыльной дороге. Потом сворачиваем на тропинку. На бугорке валяется простреленная каска. В дырочку пробился какой-то цветок и поднял красивую головку к солнцу.

— Посмотри, Майя!

— Ты, эй, не топчись, шагай быстрее! — крикнул сержант и для вящей убедительности подтолкнул Майю.

— Товарищ сержант, скажите хотя бы, куда вы нас ведете?

— Разговоры! Приведу, и узнаете.

Мы прошли глухим коридором и очутились в небольшой комнате с выбеленными известкой стенами и потолком.

Ставня открыта наполовину, свет падает лишь на письменный стол с массивными тумбами, стоящий возле окна. Рядом со столом — железный сейф. За столом сидит человек в форменном кителе без знаков различия. На его круглом полном безусом лице — очки. Перед ним на столе — кипа бумаг, которые он листает с явной неохотой, как если бы он что-то потерял и, будучи уверен, что этого «что-то» здесь нет, продолжает искать.

В дверях — солдат с автоматом.

Наконец человек в очках оторвался от бумаг, хлопнул по ним рукой — шабаш, мол, — встал и окинул нас ничего не выражающим взглядом.

— Ну, расскажите, кто вы и откуда, — произнес он.

Я подробно и обстоятельно рассказал все, что с нами произошло. Человек в очках, потирая время от времени подбородок свободной рукой, слушал, впрочем, кажется, и не слушал меня: взгляд его был устремлен вверх меня, за стены этой комнаты.

— Дальше, — сказал он, когда я умолк. — Продолжай.

— Но это все! Вчера утром мы добрались до наших, а дальше вы знаете.

— Хорошо поешь. Кто-то сочинил эту сказочку, а ты вызубрил ее наизусть.

Я посмотрел на Майю. Она ответила беспомощным и растерянным взглядом.

— Вы нам не верите?

— В сказки верят дети определенного возраста. У вас не было ни карты, ни компаса, как же вам удалось, только лишь с помощью добрых людей, выбраться из окружения с оккупированной немцами территории, перейти линию фронта и очутиться здесь?

— Да, действительно, мы чудом выбрались из всего этого ада... Нам приходилось очень тяжело, но мы верили...

— Прекрасно, прекрасно!.. Верили! Прекрасно, конечно, гулять с молодой девушкой, не скучно, можно пометать при луне, рассказывать сказки Шехерезады...

— Товарищ командир, нас бы поздравить, что мы...

— Ах, может, еще и благодарить вас прикажешь? Может, и Золотую звезду на грудь? — он снял очки, прищурившись поглядел на меня пристально и снова надел очки. Потом сел, стукнул кулаком по столу: — Ордена им подавай, а, мерзавцам!

— Товарищ...

— Кто здесь твой товарищ?! Ищи своих товарищей там, где ты их бросил и предал!

Я с трудом совладал с собой. Вынул список нашего отряда и положил на стол.

— Это еще что?

— Список погибшего отряда, нашего отряда, составленный одним из бойцов. Все они похоронены у подножья Кара-Буруна. Там же, поблизости, похоронили своих и немцы. А это, — я положил рядом список отряда Джондо, — это список погибших моряков. Тот, кто его составлял, тоже идет сюда. Сохраните этот список, может, тот парень не сумеет выбраться.

— Документами обзавелись?

— Все это легко проверить. Могилы никуда не денутся.

— Мертвых приводите в свидетели? Потому что они говорить не могут?

— В братской могиле зарыта копия этого списка.

— Подумаешь! — он небрежно пробежал глазами список. — Но чем вы объясните, что из всего отряда уцелели только вы двое?

— Рассказать все сначала?

— Нет, я хочу знать, что было в действительности.

Я молча положил на стол простреленный пулями «Вепхисткаосани».

— Сохраните и эту книгу. Список лежал в ней, они прострелены одними и теми же пулями.

— Вашими пулями? — он отложил книгу в сторону.

От ярости и оскорбления я не нашел что сказать.

— Да, получается — вы вправе нам не верить, — проговорил я чаконец. — Но мы-то чисты перед своей совестью, мы не совершили ничего недостойного...

— Ах, вы прилетели сюда на крылышках! Каждый негодяй твердит одно и то же — я невиновен, я честен, сволочи и предатели другие. Итак, вы не хотите признаться во всем, что вы совершили. Тогда я вам расскажу. Вы все попали в плен. Командиров фашисты расстреляли, в чем помогли им вы. Вы с ними срабатались, дабы сохранить свои драгоценные жизни, и теперь они направили вас лазутчиками сюда. Знаем мы все эти фокусы, не вы первые, не вы последние.

Он сделал знак солдату. — Увести их! У нас тысяча глаз, нас не проведешь! Из окружения выходят многие, но далеко не многим можно доверять.

— Все-таки выполните нашу просьбу, — сказал я. — Сохраните все то, что мы вам передали. Время разберется во всем. Люди, перечисленные в этих списках, не заслуживают ни забвения, ни поругания. Джондо Чедия отправил на тот свет уйму фашистов, он бился, может, и лучше нас, но и у него нет свидетелей. Мы исполнили свой долг, как могли...

— Чего смотришь, увести их, я сказал! — резко проговорил очкастый.

— Товарищ командир, сохраните эти документы...

Он молча глянул на меня, повернулся, открыл сейф и положил в него и книгу, и списки.

Нас привели в погреб. Глаза с трудом освоились с темнотой. Впрочем, тут не так уж темно — в маленькое, забранное решеткой, окно проникает свет. На полу рассыпана солома. В углу, у внешней стены — большой камень. Майя усе-лась на него, как на стул.

— Долго мы будем здесь торчать? — спросил я солдата.

— Не знаю. Верно, подождут, пока народ наберется.

— Какой народ.

— А кто с той стороны приходит. Они иной раз группами приходят.

— А куда их потом девают?

— Увозят куда-то... Лагеря есть особые... В шахтах тоже работают...

В замке сухо щелкнул ключ.

— Не волнуйся, Майя, мы ведь не арестанты в самом деле!

— Да, не арестанты, потому что мы внутренне свободны и не несем больше той ответственности... Часовой не узников сторожит — он охраняет нас, свободных людей, чтобы никто не отнял у нас с таким трудом добытой свободы. Эх!

Потом она снова заговорила:

— Мы когда-то утратили веру в бога, это, конечно, должно было произойти. Но веру в человека терять нельзя.

— Мы столько пережили, Майя, нам нельзя терять этой веры. Я не утратил ее и не утрачу. Я верю в тебя, верю в Джондо... Верю в тех, которые пали там, на белом смертном поле и погребены под снегом — или землей... Верю в тех, которые лишились и жизни, и могилы, но не лишились чести. Они погибли, но не погибло то, во что они верили. Мы с тобой выдержали экзамен на отлично, Майя, мы это знаем, и это главное. И мы теперь знаем, что выдержим еще более трудный экзамен и более строгих экзаменаторов. Нас теперь уже нельзя одолеть, понимаешь.

Все, что я говорил Майе, было правдой, истиной. Неправдой было то, что говорил я все будто только для Майи — нет, мне самому нужно было это слышать.

А за окном — перемены: сапоги сменились ботинками. Страж, ботинки носящий, присел на корточки и заглянул в нашу обитель. Его лицо впило в окно, как в кадр. Лицо оставалось в кадре всего несколько секунд — и снова появились ботинки. Но этих нескольких секунд было достаточно.

— А он откуда взялся! — воскликнул я.

— Кто это «он»?

— Кажется, это Шалико Цамцидзе...

— Ну да, скажешь тоже!

Я пододвинул к окну камень, на котором сидела Майя. Встав на него, я попытался увидеть часового, но тщетно — он, видно, отошел в сторону. Тогда я кинул в окно камешек.

— Что там происходит? — услышал я на ломаном русском языке.

— Эй, ты не Шалико ли Цамцидзе?

В окне снова возникло лицо.

— Боже мой, ты ли это, Мириан?! И Майя! Каким чудом здесь очутились?! Где остальные?

— Ох, Шалико!.. Остальные остались там.

— Партизанят, что ли?

— Погибли они все... Только мы уцелели. Благодаря тебе уцелели.

— Что ты говоришь, Мириан! Все погибли?!

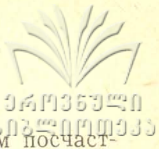
— Да. А ты-то, ты быстро поправился?

— Быстро. Тетя Надя, дай ей бог здоровья, смотрела за мной, как за сыном родным. Потом я встретился с тремя моряками, мы стали вместе выбирать... Одним словом, выбрались. А вы-то... что мне с вами делать?.. Чем вам помочь-то...

— Нас расстреляют, что ли?

— Н-нет... нет, не расстреляют... не дай господи! Но...

— Но участь нас ждет не лучшая, ты хочешь сказать?



— Вы ведь ни в чем не виноваты, верно?
— О чем ты говоришь, Шалико!
— Понятно... Все равно, брат, дело скверное.
— А ты как вышутался, ты был примерно в нашем положении?
— Знаешь, Мириан... Одним словом, мне помогли те моряки. Им повезло встретиться своего командира... ну, понимаешь, он взял под свою ответственность... Ради всего святого, Мириан, не продавайте меня, ведь вы сами однажды спасли меня...

— Да что с тобой! Все ясно, Шалва. Все в порядке.
— Ох, что же мне с вами делать! Ну, одним словом, вот так: стемнеет, я отопру вам дверь, и смывайтесь отсюда, бегите без оглядки...

— Ты что, очумел? Во-первых, для начала тебя расстреляют. Во-вторых, нас уже определенно сочтут предателями. А в-третьих — куда нам бежать и от кого? Нет, брат, так не пойдет! Мы отсюда сами — ни ногой, так и знай. Мы свою правду все равно докажем.

— Что же это получается... значит, я ничем не могу вам помочь? — заговорил он упавшим голосом.

Я поднес к губам саламури, дунул раза два. Звуки получились грустные, унылые.

— Это мне Валико подарил, помнишь, как любил он на саламури играть, — сказал я, чтобы только перевести разговор на другую тему.

— Эх, Валико... Знаешь, как он погиб, наш Валико...

— Погиб?! Когда?

— Да когда вы ушли, после вас, значит, на третий день тетка Надежда ходила в соседнее село. Там она его и видела — на виселице. Он взорвал фашистский оружейный склад, получил при этом тяжелое ранение, схватили его, ну и... одним словом, повесили...

«Никого он не выдал. И погиб не за зря, а вон как, с честью...»

Мне стало стыдно и тяжело за мелькнувшее когда-то подозрение.

— Вы, верно, голодны, — проговорил Шалико.

— Эх... — я махнул рукой.

— На, держи, хоть червячка заморите пока суд да дело, — он всучил мне пяток моченых яблок, довольно солидный ломоть хлеба и кусок колбасы. — Утречком принесу чего-нибудь. Ну и компот же получился! Я должен вас караулить...

— Ничего не попишешь, Шалико...

Свечерело. В погребе нашем — тьма египетская. За окошком — мерные шаги по асфальту. И еще за окошком — где-то далеко-далеко — звезды горят. ...Санки вплыли в темноту. Впряжены в них олень с оленхой. А сидят в санках наши ребята. Глаза у них радостные, горят, мерцают...

«Савлэ, и не совестно тебе — такой детина вымахал, а у меня защиты просил!»

«Потому — верил я в тебя. И не ошибся, Мириан. Ты всех нас защитил, всех спас».

«Наоборот, это вы нас с Майей спасли... Эмзар, друг мой, что ты так смотришь на меня?».

«Попросить тебя хочу о чем-то... Когда ты снова встретишься с этим твоим Безусым, одолжи у него очки... В эти очки, очки подозрения и неверия, все шиворот-навыворот кажется. Хочу и я в них поглядеть. Верно, ад мне покажется раем, а рай — адом».

«Да, хуже неверия ничего нет. Неверие и подозрительность... Что скажешь ты, капитан? Вот ты никогда не был подозрительным».

«Я знал каждого из вас, Мириан. Я могу сказать вам только спасибо. Ни один не подвел меня. Потому мы не умерли и никогда не умрем. Мы не сдались. Весть о нашей победе придет к людям. Ты видел — трава пробивает асфальт. И мы, как эта трава, пробьем все преграды, пронесем нашу большую правду...»

На настоящем небе вззошла настоящая луна и поглотила призрачные сани. Я вновь вернулся в погреб.

Серебряный кинжал луны пронзил мрак и изгнал его из погреба. И я вижу — Майя навзничь лежит на соломе, подложив руки под голову.

За окном все так же раздаются шаги.

Луч луны незаметно переместился и освещает теперь лицо Майи. Я заметил, что она взволнована.

— Что с тобой, Майя?

— Наверно, и он не поверит, что я... не поверит, конечно...

— Кто он, Майя?

— Тот, о ком ты говорил, что он с неба за мной следит. Он остался там, в небе, а ты — здесь, со мной, на земле. Меня с ним разлучила война, и война же сблизила нас с тобой. Мы нашли друг друга. Ты не смейся, Мириан, скажи, что я скажу: ведь мы с тобой счастливы, несмотря ни на что?

— Я не смеюсь. Да, как это ни невероятно — я счастлив.

— Тогда, когда мы с тобой впервые остались одни, я загадала: если у нас все обойдется... спокойно, значит, мы спасемся. Так ведь и получилось, Мириан? Мы правда спаслись.

— Да, чудом — но спаслись. Но ты дрожишь! Тебе холодно? Или ты боишься?..

— Да, холодно. Да, боюсь. Боюсь, когда не вижу твоего лица. Боюсь, когда не чувствую твоей руки. Дай мне твою руку, Мириан. Вот так. Я люблю эту руку — на нее можно опереться. Мириан, ведь мы будем вместе всегда, скажи?!

— Майя, я не узнаю тебя, что с тобой?

— Никогда не отпускай меня, Мириан, держи меня крепко.

— Сама смерть не разлучит меня с тобой, Майя!

— Мы можем обманывать только каждый себя, но не друг друга... Я не сестра тебе, Мириан, и эта косынка не может мне принадлежать. На, возьми ее обратно. Кончилась наша игра — ты не Тариел более, и я не Асма. Прости меня, я, наверное, измучила тебя, мой любимый, но и мне пришлось очень нелегко...

Я взял у нее из рук косынку. Глаза наши встретились. Какая буря бушевала во мне, какой вихрь закружил меня! Сердце мое кричало от счастья и рвалось на тысячи кусков, кровь бешено стучала в жилах.

Бесшумный ураган пронесся по погребу и умчал с собой запах плесени, запах сырости и тлена. Автомат свежесыпеченного хлеба ударил мне в нос. Жаром тона обдало мои плечи... тона — или того огня, который разжигали мы с Майей в лесничьей сторожке. Тот огонь тлел под золой и вспыхнул сейчас алым пламенем.

...Ничего не было ни до, ни после — ничего не было никогда. Были только я и Майя, Майя и я. Ничего я не помнил, не знал, не жалел — я обрел свершение всех своих желаний, начало всех начал. Я медленно погружался в сладостную бездну, в бесконечность моря и неба, слившихся воедино...

Я открыл глаза и некоторое время соображал, где нахожусь.

Майя лежит на спине. Солнечный луч задевает и ее.

И между нами нет больше автомата! Этот автомат был не только стражем целомудрия — он лежал, точно какое-то чудовище, преграждая нам путь друг к другу. Мы освободились от него, наконец, — и любовь протянула руку любви. Любовь и оружие — о, как несовместимы они! Если бы любовь могла, она бы разбила и уничтожила все автоматы, все винтовки, все пушки...

Невероятный грохот и гул прервал мои размышления...

— Майя!.. Майя... — шепотом позвал я наконец.

Молчание было мне ответом. Но этого шепота я и сам не слышал.

— Майя!! Майя-a!!! — завопил, заорал я.

— Мириан!

— Ты жива?!

— Я — да. Где ты? Я не вижу тебя?

— Я тоже тебя не вижу, Майя!

Снова темь и тишь — и два наших голоса. Что же, никого, кроме нас, не осталось на земле?

— Где же ты, Майя?

— Я здесь, а ты? Где ты?

Мои руки, шаря в потемках, нашли ее руки. Больше уж ничто нас не разлучит.

— Как трудно дышать, Мириан, я задыхаюсь!

— Не бойся, это пыль. Она скоро уляжется. Нас бомбили...

— Не отпускай мою руку, Мириан! Если нам суждено умереть, умрем вместе...

— И ты не выпускай моей руки... И не бойся, мы не умрем.

Прошло какое-то время, мрак понемногу стал рассеиваться.

Солнечный луч вновь заглянул в погреб. Как далеко ты от нас, солнце, но всюду проникает твой свет. И тот цветок, пробиваясь сквозь землю, сквозь асфальт, сквозь простреленную каску, все же взметнулся к тебе, Солнце!

ЛЕВАН КАХИАНИ

РОМАН

И Леван спокойно рассказал Ираклию про свою беседу с прокурором и намерение взять Важа на поруки. Теперь дело за коллективом: если на собрании вынесут постановление просить о выдаче Небиеридзе на поруки, прокурор, очевидно, даст согласие. Тогда от нас будет зависеть, закончил Леван, что получится из этого беспутного Важа. И, круто оборвав разговор, стал расспрашивать Ираклия о состоянии работ в карьере. По распоряжению Вахтанга Чхеидзе, отесанные камни — это дело было теперь налажено — увозили в Тбилиси.

— Это мы проверим вместе, а сейчас ступай готовься к поездке в Тбилиси.

В дверях Ираклий столкнулся с Цицино. Они оба на секунду задержались, молча глядя друг на друга. Леван внимательно на них смотрел. И что-то, кажется, уяснил себе.

...Хотя никто из рабочих не знал Важа Небиеридзе, на собрании предложение Левана о взятии его на поруки было принято. Никто не стал возражать. И уже через два дня Важа появился на строительстве.

— Забудем все, Небиеридзе, перечеркнем раз и навсегда! — сказал Кахиани, усадив его в своем кабинете против стола. — Завтра выйдешь на работу, а пока знакомься со всеми, у нас тут отличные ребята, будут тебе хорошими товарищами. Сейчас устрою тебя с жильем.

Он вызвал Ираклия. Дружки при встрече смутились. Леван и бровью не повел.

— Устрой его в вашем общежитии, — обратился он к Ираклию. — Сведи к Ясону, пусть тот зачислит его в свою бригаду. В добрый час, Важа. Мы с Ираклием готовы помочь тебе во всем, можешь на нас надеяться.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

— Здравствуйте, — вежливо сказал Важа.

— Здравствуйте, — одиноко откликнулся Мишико.

Остальные — молчок. Кто еле повел глазами к двери, возле которой остановился Важа, а кто и возмущенно отвернулся.

— Койку поставишь там! — комендант ткнул пальцем в самый отдаленный темный угол.

Тон Коции, сухой, надменный, словно несколько не задел гостя. Улыбнувшись, Важа кивнул головой и ушел. То ли простился, то ли согласился со словами Коции. Как будто ничего не произошло, а комендант почувствовал себя посрамленным.

— Ты что это его так встретил? — Нодари отложил в сторону книгу.

— Как встретил?

— Мордой об стол, вот как!

— Еще бы... Надо было подскочить, до полу поклониться, расстелить ковровую дорожку и преподнести цветы, так что ли? — ответил комендант.

— Но и обращать его в бегство тоже ни к чему было, — сказал Ладико.

— Да ему бы надо было кости переломать! Вот какую встречу он заслужил...

— Да, да, дорогой Коция, — подзуживал его Гиви, — правильно бы вредить ему вазок. Ты разве не заметил, как он дерзко на тебя смотрел?

— В общем, товарищ комендант, ты свои полномочия превысил. Обиделся он на своих поручителей и смылся, — заключил Ладико...

...И никто не думал, что Важа вернется. А он на третий день приехал, выгрузил из машины маленький стол, полку, два стула, постелил постель в указанном ему перстом коменданта месте, на «Камчатке», и уехал на той же машине.

А вечером, тихонько насвистывая, Важа тянул к своему углу провод, вешал настенную лампу, раскладывал на полке вещички, в общем, поселялся прочно

Окончание. Начало в №№ 8, 9, 10, 11.

и обстоятельно. Вскоре ссыльный угол стал украшением барака. Циновка, обыкновенная, плетенная из крапивы циновка, ярко раскрашенная, что обычно стелят у дверей, прибитая к стене, оживила угол. На столик свой Важа поставил глиняный кувшин, да еще с розами...

Ребят присутствие этого чужака стесняло. Не могли они при нем ни подучиться, ни быть самими собой. Соседи не слишком располагающе поглядывали в его сторону или просто не замечали пришельца. А он жил себе беззаботно, ходил, читал, частенько насвистывал свои песенки, и все это легко, независимо и нисколько не задиристо.

Вечер был нестерпимо душным. Разомлевшие обитатели барака лежали по кроватям. Важа и Ладико перед домом играли в нарды. Выигрывал все время Важа, и Ладико никак не хотел уйти побежденным — хоть напоследок, а партию выиграть! Потом стемнело, и пришлось вернуться. Все уже спали. Легли и они.

Из угла Важа была видна вся комната. Против светлевших квадратов окон обозначались головы спящих. Снаружи доносился шум Риони, несший свежесть и тишину ночи. Запах роз на столике сделался слышнее. Важа не спалось.

Думал он о том, что первая молодость уже позади, а он все еще как-то странно не нашел себя в жизни. Вот так получилось, что ни к чему путному его до сих пор не влекло. И он вспоминал, что открывались ему не раз пути, по которым бы идти и идти к заветной цели... Ведь тогда в Тбилиси — разве он не мог, в самом деле, окончить этот злополучный институт, стать специалистом... Неужели нет в нем нисколько честолюбия или его попросту еще не заинтересовало по-настоящему ни одно дело? И вот он, претерпевая превратности судьбы, достаточно мелких неприятностей и уколов самолюбия, докатился до освобождения на поруки, до общежития при стройке. И считает, что ему повезло.

Важа обладал счастливой способностью не только мириться с неизбежностью, но и находить хорошее в любом положении. И был достаточно умен, чтобы оценить его здраво. Рабочий барак был в его пестрой жизни еще одним предупреждением судьбы: она словно снова протягивала ему руки. Может, в последний раз, кто знает? Захочет он этим воспользоваться и навсегда отойти от того омута, возле которого топтался до сих пор, как бы играя с огнем: «Хочу — нырну с головой, вздуваю — отвернусь, все в моей власти!». Или будет балансировать дальше, в поисках острых ощущений... Важа знал, что в нем живет душа игрока, которому самые полные и сильные впечатления дает азарт, испытание своего счастья, и что именно в этом причина его невзгод и превратностей жизни. Ему пора, давно пора решать, по какому пути идти дальше...

Это, впрочем, для будущего: а сейчас у него нет никакого выбора. Ему грозит тюрьма, и надо оставаться здесь. Раз так, он должен извлечь все хорошее из того, что предоставляет ему его положение на стройке. Он тут может учиться, закончить институт, обстановка самая подходящая: в общежитии — культ науки, все зубрят напропалую! И народ — это Важа оценил сразу — славный. Поручители в его вкусе. Пусть встретили, как собаку в кегельбане, — это только раззадорило Важу, ему захотелось преодолеть предубежденность и добиться признания...

Важа чувствовал, что не заснет: враз сделалась неудобной постель, захотелось выйти, постоять над рекой. Он бесшумно оделся и выскользнул из помещения.

Ладико видел, как Важа ушел. Сначала решил, что он отправился по нужде, но тот все не возвращался, и тогда Ладико тоже встал. Постоят там вместе, по душам поговорят. А когда увидел Важу, стоявшего у моста, вдруг не решился окликать; зачем мешать человеку? Тот взялся за поручни моста, смотрит вниз на бегущую воду, ему, должно быть, никто сейчас не нужен. Интерес Ладико к ночному общению сразу пропал, но он не вернулся в барак, а присел за камень, откуда Важа ему был хорошо виден. Стоит, не шелохнувшись, будто его там привязали. Вероятно, они долго так пробыли: Ладико — в тени камня, глядя на Важу, тот, склонивши голову, глядя на реку... И каждый думал о своем...

Вдруг Важа резко прыгнул, как будто нырнул. И исчез, словно ветром сдуло, только мост покачивался.

Ладико встал, вытянул шею. Важа порывистыми перебежками двигался к складу. Вот укрылся за штабелем бревен. Вспыхнул, метнулся в сторону, выбирая места попрятнее. От кого он прячется? Не от сторожа ли? Подирался к двери, взялся за замок, прильнул к щели и заскользил вдоль стены.

Ладико все глаза проглядел, но Важа больше не появлялся. Эта странная перебежка, проверка замка... Ладико, также прыгнувшись, побежал следом, обогнул склад. Так вот куда исчез Важа: в задней стене сарая зияла чернота провала — были отодраны доски. Лаз вел в средний проход склада, по нему легко было

добраться до отгороженной внутри кладовой, где хранился дефицитный корабельный сурик: Ладико на днях помогал сгружать мешочки этого ценного материала и слышал, с какими трудами выдирали его снабженцы. Он заглянул внутрь: выходящая в проход дверь светилась щелями. Ладо пролез дальше шумно, как во сне, подкрался к ней. Голоса!..

— ...давай нам. Чем скорее мы отсюда уйдем, тем и для тебя лучше будет!

«Оборотень, падло! — сразу вскипел Ладо. — Своих гавриков пригласил нате, пользуйтесь, я тут хозяин! У-у, негодяй!..»

Их трое... Эх, будь на его месте силач Ушанги! Бежать за ребятами? Заорать благим матом, колотить чем попало по железу? Или схватить вон тот ломик и с криком, чтобы страшно стало всем, ринуться в драку? Они, может, от неожиданности напугаются, разбегутся... Может, бросятся на него... Но одного кого-нибудь он все же прихватит.

Ладо поднял на всякий случай ломик и прикинул глазом к щели. Теперь все кругом перестало существовать, кроме того, что делалось за дверью. Он был, как зверь в засаде: затаился и ждал того внутреннего толчка, который безошибочно подскажет ему момент прыжка...

Важа стоял спиной к двери, загораящая озор.

— А я вот думаю, что, пожалуй, вас вовсе не отпущу. Столько времени не виделись... — это Важа. — Кроме того, потакать таким дурным привычкам, как кража со взломом, — это не по мне.

— Не потакай... Стой себе в сторонке и помалкивай...

— Да, лучше всего замри! — в голосе угроза, потом снова насмешливо: — Если, само собой, тебе дорога твоя молодая красивая жизнь. Да сейчас же погаси свет, нам свечи довольно... Ну, живо!

Важа шагнул в сторону, к весам, и Ладо увидел двоих, стоявших у противоположной стенки возле огромных рюкзаков.

— Не медли, или тебя произведут в герои... как «мильтона»! «Погиб при исполнении служебных обязанностей...» — говоривший быстрым движением выхватил из-за пазухи нож и открыл с сухим щелчком.

— Кого хоронить будут, еще посмотрим, Гио, — хрипло сказал Важа. — Впрочем, если и меня, то кого-нибудь из вас с собой возьму! — Важа молниеносно вооружился двухкилограммовой гирей.

— Не дури, марать нам о тебя руки ни к чему сейчас, понял? Спешим мы, учти. Так что гаси свет и стой смиренненько. Иначе... — Пецо тоже вытащил нож.

Важа видел, что ему не сдобровать: Гио и Пецо по части поножовщины — не новички. Правда, и он не безоружен: гири, рядом гаечный ключ, можно мгновенно схватить... Сначала швырнуть гирию, в того и другого, потом взяться за ключ, а дальше — игра, как рассудит счастье...

— А ну-ка сматывайтесь по добру, — неожиданно вырвалось у Важа. — и не смей ничего трогать...

— Шалишь, не с тем мы шли, чтобы пустыми уходить... Или бери себе рюкзаки, а нам — деньгами.

— Деньги? А не хотите... — воскликнул с негодованием Важа и добавил истинно по-блатному, как припечатал.

Дальше все произошло мгновенно. Сверкнул нож, Пецо ринулся вперед и... упал. Гирия, пушенная Важа, попала ему в грудь.

Второй вор был осторожнее. Он впился глазами в руку Важа, ухватившую вторую гирию. Собравный и напряженный, он мелкими шажками продвигался вперед, готовый отпрянуть. И — кошкой прыгнул на весы. Важа метнул гирию — мимо! — и нагнулся за ключом. Ладо увидел занесенный нож...

— Руки вверх! — жиденькая дверка наотмашь распахнулась.

Гио, подумавший, что нагрянула милиция, поднял было руки, но когда увидел в дверях взъерошенного паренька с ломиком в руке, приободрился. Пецо корчился на полу, судорожно, со свистом втягивая воздух, плевался кровью, но ножа не выпускал.

— Брось нож!

— На! Пусть будет вам подарок, — спокойно сказал Гио, шагнул назад и неожиданно метнул нож в Важа.

Тот увернулся. Нож, пролетев над ухом, вонзился в стену. Обезоружить Пецо было легко.

— Ступай за милицией, Важа, — прохрипел Пецо. — Ремесло легавого как раз по тебе.

Важа молчал.

— Что будем делать? — спросил Ладико.

Важа пожал плечами. Гио приперт к стенке, Пецо не может подняться. Не идти же в самом деле в милицию? Гио сразу почувал его колебания.

— Уеду я отсюда, далеко, Пецо с собой возьму. От тебя отстанем: ты для нас конченный человек. И, как говорится, бог тебе в помощь! Иди своей дорогой и нам не попадайся. Отныне ты наш враг...

Не обращая внимания ни на Важа, ни на Ладо с ломиком, Гио подошел к Пецо, помог ему подняться, почти взвалил на себя и поволок к лазу.

Важа прибрал гири, вышел с Ладо на улицу, вдвоем прибили доски на место и тихонько пошли. Ладико изредка колотила дрожь. А Важа не мог забыть тот глухой звук, с каким гиря шмякнулась в грудь Пецо.

— Ты как узнал, что на складе воры? — спросил Ладо, когда они подошли к цепному мосту.

— Интуиция. А вот ты откуда взялся?

— Тоже интуиция.

— Давай посидим, — предложил Важа. — Вон и сторож возвращается.

— Долго же его не было.

— Не больше пятнадцати минут... — Важа взглянул на часы.

Они присели на мосту, и Важа, тихонько раскачивая его, стал рассказывать...

Ему послышался такой чужой в мягкой тишине ночи скрип, словно осторожно тащили гвоздь, засевший в дереве. Он насторожился. Все снова тихо, помешалось, должно быть. А все-таки привычная картина в чем-то изменилась. Только в чем? Дощатые стенки склада, утоптаный вокруг песок, резко освещенный... Стой, откуда на нем доска, ее там не было? Потом возле нее легла другая. Кто-то, невидимый за углом, осторожно положил ее. Воры!..

Тревожно екнуло сердце. Если склад обворуют, подозрения падут на него. Он, к тому же, вышел ночью из барака, кто-нибудь наверняка не спал...

Важа толкнул дверь и почти одновременно повернул выключатель. Воры оглянулись. Важа узнал своих прежних дружков — Гио и Пецо. Увидев Важа, они облегченно распрямились.

— Это именно мы, так что иллюминации не нужно. Погаси свет, мы и свечой обойдемся, — сказал Гио.

— Вы знали, что я здесь кладовщиком, подвести хотели? — резко спросил Важа. — За шкуру меня возьмут.

— Отбрешешься — небось под одной крышей со своими поручителями живешь.

— Подозревать все равно будут, если даже улик не будет.

— Да ты, я вижу, перевоспитался! Однако, быстро, — ядовито проговорил Гио. — Тебе-то что до их подозрений? Пускай эти ишаки думают, что хотят. Не век тебе с ними жить. Или...

— Разве не видишь? Он исправился... — подбросил презрительно Пецо.

Важа молчал. Воры поглядывали выжидательно — Важа не выпускал из рук прута. Гио медленно полез в карман.

— Продать нас думаешь? — злобно спросил Гио.

— Да ты не в партию ли вступил? Что молчишь? На партвзносы грошей хватает? — куражился Пецо.

— Лучше по-хорошему. Помогите, давай, нам, — примирительно сказал Гио. — Чем скорее... отсюда уйдем, тем и для тебя лучше будет! — Эти слова и услышал Ладико.

— ...Если бы не ты, мне бы амба... Так откуда же ты взялся?..

— Я не спал, когда ты вышел, вот и все. Захотелось поговорить, я и пошел за тобой. А увидел, что ты на мосту стоишь, не стал мешать. Потом вдруг смог — сиганул куда-то. Бесшумно, как кот. Бежишь, прячешься. Я — за тобой... Остальное ты знаешь... Ты вот что скажи: ведь напрасно мы их отпустили? Они эти дела не оставят, натворят такого...

— Знаешь, и я об этом подумал, да признаться — страшновато показались ребята опасные. Я кое-что о них знаю. О своей шкуре приходится иногда позаботиться, да и с милицией я не в ладах: не дай бог с ней связаться. Впрочем, и им сейчас не до воровства, этим парням. Одному легкие так отбил, что как бы всю жизнь не стал помнить...

— Ну что ж, — подумав, сказал Ладо, — мы и тут поступили, как велит наш Леван Кахиани! А вот ножи куда денем?

— Не хочешь ли на память сохранить в качестве сувенира?

— Ну их к черту!

— Пусть так! — Важа бросил их в Рюни.

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

ЯСНЫЙ, ЧИСТЫЙ РУЧЕЙ

Вы не бывали в нашей деревне?.. Она очень красивая. Но, пожалуй, самый красивый в ней — наш околоток Гомахури. Деревня вся в низине, Гомахури же взбирается на склон горы. А со склона вниз сбегает речка, не речка даже, а ручей — ясный, чистый...

Я часто вспоминаю этот ручей, ведь все произошло здесь, на его берегу.

Заури жил у ручья, а я тремя дворами выше. Мы выросли вместе. Заури немножко старше меня, но это не мешало нашей дружбе.

Когда Заури пошел в школу, помню, я чуть не плакала и успокоилась только тогда, когда он дал мне понести сумку. А потом я каждый день у ручья встречала его, когда он возвращался из школы, и дальше мы шли вместе.

Скоро и я стала ходить в школу.

А потом и детство прошло...

Как-то шли мы с Заури домой.

Стояла поздняя весна. Теплый ветер с моря слабо колебал верхушки деревьев. Откуда-то слышалась песня. Залаяла вдруг собака и так же внезапно умолкла.

Тишину прорезал гудок электровоза. Это значило — перевалило за полночь. В нашей деревне время определяют по этим гудкам. О наступающем утре нам возвещает поезд «Тбилиси—Батуми». В полдень пролетает «Батуми — Поти». «Батуми—Сочи» зовет с работы домой. Пройдет «Поти—Батуми», и мы начинаем готовиться ко сну. А когда проезжает «Батуми—Тбилиси», вся деревня охвачена глубоким сном.

Мы смотрели туда, где должен был пройти поезд. Мягко светила луна, и рельсы блестели, словно ручьи, текущие вспять — из ущелья в гору. По ним пробежали тени со светлыми окошками. Потом все стихло, и слышался лишь мерный рокот ручья...

Я припала к холодной струе. Теплый ветер ласкал меня, платье на мне трепетало. Раздался тихий, дрожащий голос Заури:

— Цицино!

Я удивленно взглянула на него. Он весь дрожал, глаза широко раскрыты. Его волнение передалось мне. Я опустила голову, не в силах выговорить ни слова. Так мы стояли друг против друга, потом Заури наклонился и приник к ручью...

С того дня его будто подменили. Правда, с другими это был прежний Заури, но, когда мы оставались одни, он немел, не мог связать и двух слов. Нам было трудно — и ему, и мне.

Та ночь отняла у нас дружбу. Правда, взамен она принесла что-то другое — непонятное и невыразимое... тайное и печальное.

Заури теперь сторонился меня. Редко, редко мы оказывались вместе. Тогда он провожал меня до ручья и уходил, и неслась по переулку тягучая однообразная песенка. А я всхлипывала у себя в сених.

Заури кончил школу, и его призвали в армию. С проводами была суета. Мы оказались рядом лишь на перроне вокзала. Вокруг толпилась масса народу — провожать призывников пришла вся деревня. Мы стояли и не знали, о чем говорить. Я видела его глаза, полные печали и горечи. Мы простились, как все. Он уехал, и я поняла — что-то важное ушло от меня.

Время от времени я получала от Заури письма. Письма были краткие и нерешительные. Он обращался ко мне неизменно на «вы» и писал всегда одинаково: «Беру в руки перо и шлю вам издалека привет!», «Первым делом желаю вам всего хорошего», «Знаю, что у вас и так все хорошо, но считаю своим долгом спросить...» И больше ничего обо мне. О других он спрашивал с интересом: кто где живет, где учится, работает, кто женился и вышел замуж.

Я закончила школу, стала работать в колхозе, чтобы помогать маме.

В один из осенних дней, как обычно, пролетали мимо нашей деревни поезда, я, как обычно, собирала чай, потом пошла домой... Еще издали увидела: что-то

у нас случилось — на балконе висел мужской костюм. Подруги наперебой стали спрашивать меня:

— Цицино, уж не вышла ли ты тайно замуж?

Я молчала. Мне было не до шуток. Утром мама чувствовала себя нездоровой и я почему-то связала это с ее здоровьем.

Я бросилась к дому, с силой толкнула дверь в комнату. У стола сидел незнакомый молодой человек. Сидел свободно, как в своем доме, и листал книгу. На скрип двери повернулся, привстал. Мы смотрели друг на друга. Взгляд у него был пронзительный, я не выдержала, потупилась. Он бодро спросил у меня:

— Кого вам? Хозяйка сейчас придет.

Я рассмеялась — в моем собственном доме незнакомец смело спрашивает меня: «Кого вам?»

Он немного смутился, но сразу овладел собой:

— Простите! Вы, наверно, Цицино. Вы кончили школу и работаете в колхозе. Ваша мать мне все рассказала. Вы и в самом деле красивая!

Теперь уж смешалась я. Знала свою матушку — ей бы только найти слушателя, чтобы поговорить обо мне.

А молодой человек продолжал бойко:

— Познакомимся! Я новый врач, Гела Мшвениерадзе. Временно поживу у вас. Привел меня сюда председатель колхоза, и ваша матушка не возражает.

Да, у нас самый большой и самый хороший дом в Гомахури.

Врач нас не стеснял, а в околотке все просили — не отпускайте его от себя, понадобится — под рукой будет.

Новый врач всегда старался быть рядом со мной и делал это так просто, словно все получалось само собой. Чего греха таить, и я тянулась к нему.

Подруги не давали нам покоя, как увидят — тотчас затянут песню:

Красавица,
Красавица,
Я тебя люблю!

Не знаю, нравился ли он мне? Но вниманием его я, кажется, гордилась.

Однажды мы с Гелой возвращались откуда-то в Гомахури. Вечер был теплый, какой-то знакомый, будто возвращалось прошлое. Только на дворе стояла не весна, а осень. Деревья печально роняли сухие, звонкие листья.

Вдруг меня словно обжег жар губ Гелы. Тьма вокруг сгустилась до черноты. Гела и не думал смущаться. Я толкнула его в грудь. Во мне поднимались рыдания. Мне вспомнился Заури, его письма и наш чистый, ясный, прозрачный ручей.

МАТЬ АРЧИЛА

На мосту ветер пробрал Шота до костей, сорвал с него шапку. Он поймал ее, остановился, посмотрел вниз, на воду. Река бурлила, волны бились о быки моста и, бессильные сломить их, отступали.

Шота отошел от перил, перебежал через мост и быстро пошел по улице. Ветер в неистовстве срывал последние листья с деревьев, кружил их в воздухе, швырял в лицо Шота.

Шота остановился у трехэтажного дома. Поднялся на второй этаж, нажал на кнопку звонка рядом с табличкой: «Картвелишвили».

Раздались шаги, стукнул засов, дверь открылась.

Шота вошел в коридор. Перед ним стояла пожилая седая женщина.

— Кого вам? — тихо спросила она.

Было темно, но Шота все же заметил, как изменилась мать Арчила.

— Тетя Марина, не узнали?

Она взглядела, узнала его. Слабо вскрикнула, обняла.

— Сынок!.. Шота... Мой Арчил... мой мальчик, горе твоей матери! — Она опомнилась, потерла ладонью лоб. — Не обращай на меня внимания, сынок. Идем!.. Идем!..

Она взяла его за руку и пошла вперед.

На стенах в комнате висели фотографии Арчила. На столе были сложены книги, бумаги.

— Это его последнее стихотворение... незаконченное.

Шота посмотрел на листок, но в руки взять не решился. На полях какие-то рисунки. Много строчек зачеркнуто. Чернила выцвели. Бумага потемнела.

— Когда ты приехал? Не ранен ли?

— Нет... Приехал сегодня утром!

— Пусть дни, которых не дожил Арчил, прибавятся тебе.

Шота взглянул на недописанный лист.

— Это он написал, когда вернулся с лейтенантских курсов. Перед тем как ехать на фронт. Я берегу листок, потому что тогда он сказал: приеду — допишу. Человек предполагает, а... Что ж это я, все о себе? Как ты, сынок? Где воевал?

— Где только не приходилось воевать!

— Надо выпить за Арчила! — она принялась накрывать на стол.

Потом принесла книги Арчила, газеты, журналы.

— Вот здесь напечатаны его стихи. Ты ведь помнишь, он до войны печатался. И с фронта присылал стихи. Вот они. Они — моя отрада... и еще друзья Арчила — Видзина, Нодар, Кето, Зейнаб... Вот и ты пришел!

Шота перелистывал книжку Арчила.

— Где он погиб? Когда?

— В январе 1944-го открытка пришла: «Героически погиб...» и так далее. Я сперва не поняла, не поверила... трудно было поверить, что с этим маленьким клочком бумаги прервалась жизнь моего Арчила. Потом пришло еще письмо. От его фронтовых друзей. Вот! Прочитай вслух, сынок!

«Мама! Пишем тебе мы, фронтовики, однополчане Арчила. Вы уже знаете... Это тяжело, очень тяжело! Арчил был нашей душой и сердцем, поэт даже в бою, вдохновенный, бесстрашный, нестигаемый. Он оставил поле боя и жизни героем...»

Сейчас у нас передышка. Кругом тишина. И мы молчим. Мы думаем о нем. И пишем вам это письмо.

Мы вернемся и придем к вам, как к нашей матери.

Рядом с вами живет девушка — Зейнаб. Навещайте ее. Арчил нам много рассказывал о ней. Пусть она нам напишет.

До свиданья, мама!»

— Зейнаб приходит почти каждый день. Были у меня и три фронтовых друга Арчила... мои сыновья...

Она показала фото. Три молодых парня смотрят на нее, широкие плечи их как-то напряжены, кажется — вот-вот они встанут, чтобы защитить ее.

ВНУК БАБУШКИ БАБИНЭ

Жарко. Солнце повисло на самой середине неба. Я прячусь в узкой полоске тени — жду поезда на крохотной станции в Гурии.

Рельсы извиваются, блестят и теряются вдаль, в липах и тополях.

Тихо. Птицы притаились, только сверчки неумолчно трещат.

Вокруг — кукурузные поля. Молодые ростки не успели набраться жизненных сил, как солнце обожгло их и иссушило землю.

Время от времени с моря набегают легкий ветерок, но быстро замирает, и кажется, солнце палит пуще прежнего.

Кроме меня, поезда ждут две женщины. Одна — пожилая, другая — молодая. Пожилая — беспокойная: возится, кричит, то и дело вскакивает, прохаживается по перрону. Перрон узенький, полоска тени и того уже. Тетке жарко и, по всему видно, тяжело оттого, что приходится молчать. Молодая сидит, углубившись в свои мысли, словно не видя ничего вокруг. Тетка уже несколько раз пыталась нарушить молчание, но успеха не добилась и отступила. Косо поглядывает в мою сторону, но заговорить не решается.

Поезда не видно, рельсы молчат.

Я сижу и прислушиваюсь к стрекотанию сверчков. Время от времени по-смастриваю на молодую, но взгляда ее поймать не могу.

Тетка собралась с духом и обратилась ко мне:

— Отчего это, интересно, поезд задерживается? — Не получив ответа, повернулась к соседке: — Ты куда собралась, милая?

— Да в Ланчхути! — отмахнулась молодая.

— А я в Шухути, за шелковичным листом. Нигде не раздобуду!

Молодая молчит.

Тетка не отстает:

— Ты здешняя, что ли?

— Теперь ланчхутская!

— Ланчхутская? А за кем ты, милая?

— За Джорбенадзе! — сквозь зубы цедит молодая.

— Ух ты! Неужто такая жена досталась Вану Джорбенадзе? Гляди-ка! Ну и ну! Я ведь была на твоей свадьбе! Только тебя не видела... Поздно приехали. А я пораньше ушла, утра не дождалась...

— Мой муж не Вану!

— Как не Вану, а кто же? — оторопела тетка.

Я чувствую, молодая вот-вот вспыхнет, и вовремя вмешиваюсь:

— Смотрите, а, в такую жару...

По рельсам кто-то бежит. Тетка всплескивает руками. Молодая приподнимается с места.

— А я-то думаю, кто бы это мог быть? — взвизгивает тетка. — Дурбан! Не-счастный!

Бегущий увидел нас, остановился, постоял немного и пошел неторопливым шагом. Приблизившись, не глядя на нас, опустился на землю. Пареньку, наверно, лет шестнадцать. В беспорядке разметались нечесанные черные космы. Латаные-перелатаные штаны едва доходят до лодыжек. Он бос и подпоясан веревочкой.

— Что ты, детка, бегаешь по рельсам? Ступни не горят? — спросила тетка.

— Нет! — пробормотал пареньек неохотно и махнул рукой, как бы отгоняя муху.

Я достал папиросу, закурил. Поймал жадный взгляд мальчишки.

— Бери!

Он торопливо, неловко стал вытаскивать папиросу, рассыпал несколько штук. Собрал, взял одну, другие, как попало, сложил в коробку. Я чиркнул спичкой — он затянулся, закашлялся. Глаза слезятся. Совсем непривычный! А папиросу все же не бросает...

— Ты когда это начал курить? — возмутилась тетка.

— Бабушка Бабинэ умерла! — резко выкрикнул мальчишка и умолк.

— Да что ты! — всплеснула руками тетка. — Когда же это она?

— Бабку Елену я не любил! — продолжал парень, не обращая внимания на тетку.

— Почему не любил?

— Не любил!

— Почему, спрашиваю, не любил?

— Вредная была.

Тетка втянула-таки паренька в разговор.

— Знала я твою бабу Елену! Неплохая была.

— Да что ты знала? — озлился парень. — Неплохая! Из дому меня выгнала, переночевать не дала.

— Елена — мать его отца, — объяснила нам тетка, — он ведь сирота, мачеха у него. Да уж сами видите!

— Она не то, что бабушка Бабинэ, — бормотал парень, и плечи его вздрагивали.

— Бедный парень! — вздохнула молодая.

— А о бабушке Елене ты плакал? — не отставала тетка.

— Нет! Злая она была... ночью... на улицу... выгнала...

— А Бабинэ очень любил?

— Люби-ил! — светло улыбаясь, протянул парень.

— За что ты ее любил?

— Сладости мне давала, когда я ездил в Ланчхути... мыла меня, наряжала...

— А ваши все где?

— Уехали.

— А тебя почему не взяли?

— Так! — огрызнулся парень и многозначительно покосился на свой наряд.

— Нужно оплакать Бабинэ, — трещала тетка. — Что там одежда, кто на нее глядит!

— Нет! — упрямылся парень. — Нет! Не нравилось ей...

— Кому?

— Бабушке Бабинэ!

— Что не нравилось?

— Когда я так выглядел...

Раздался гудок электровоза. Тетка засуетилась, подхватила корзины, метнулась к поезду.

Поезд подходил к перрону. Я услышал голос молодой женщины.

— Ушанги, — звала она, — пойдем-ка со мной! Вымою тебя, приодену, и ступай простись с бабушкой Бабинэ. Пойдем?

Ответа я не слышал.

Когда поезд остановился в Ланчхути, я увидел, как они шли по перрону вместе. Впереди молодая женщина — она что-то говорила с жаром, — позади понурый Ушанги.

ИГРАТЬ В ВОЙНУ



Как все маленькие мальчики, он любил играть в войну. Он готов был целый день не есть и не пить, только бы играть с отцом в войну.

У него не было сверстников. Но что стоит четырехлетнему мальчугану сотворить свой собственный мир? Он обращал кусты в своих друзей, деревья — во врагов, палки — в лошадей... Играть в войну он мог сколько угодно.

Мальчик жил в небольшом местечке в двухстах километрах от границы. Его отец был командиром. Днем он занимался с новобранцами. А вечером возвращался домой и играл с сыном в войну.

У мальчика было много оружия: деревянный револьвер в кобуре, деревянное ружье, сабля, кортик. Отец прятался за яблоней, мальчик — за кустами роз.

— Бах!.. Бах!.. Бах!.. — стрелял мальчик из револьвера или ружья, и раненый отец падал навзничь. Мальчик торжествовал победу — с воплями носился по двору. Он умел не только стрелять, но и спасать раненых. Для этого нужно было лишь крикнуть «гоп!», вскинуть вверх руки, набрать в горсти невидимого снадобья и поднести побежденному. Он подбегал к отцу с полными горстями, радостно взвизгивал: «Ожи-ил?», и отец тотчас же вскакивал на ноги, чтобы вступить в новый бой.

Мальчик очень любил воскресенье. Этот день принадлежал ему безраздельно. В хорошую погоду отец и сын вставали чуть свет и шли к реке удить рыбу. Возвращались голодные, как волки. После еды мальчика укладывали спать. Он не любил, когда его укладывали спать в воскресенье. Но зато после сна они с отцом долго играли в войну, бегали по двору, вслугивали воровбьев, разгоняли кур.

— Бах!.. Бах!.. Бах!.. — стрелял мальчик из-за розовых кустов, и отец падал на землю. Мальчик торжествовал победу, потом вскрикивал «гоп!», набирал в горсти безотказного снадобья, неся с ним к отцу, взвизгивал: «Ожи-ил!», и отец бодро вскакивал на ноги, словно ничего не случилось.

В ту субботу отец почему-то долго не возвращался. Наступило воскресенье, а отца все не было. Мальчик затосковал. То и дело подбегал к воротам и, понурый, возвращался назад. Мать мальчика тоже была взволнована. Мальчуган не находил себе места:

— Мама! Пойдем удить рыбу!

Но матери было не до него.

— Мама! Поиграем в войну!

— Поди, погляди, не идет ли отец?! — отмахивалась от него мать.

Мальчик бежал к воротам, долго глядел на желтую дорогу. Потом, понурый, возвращался назад.

— Мама, — просил он, — поиграем в войну!

Но мать не соглашалась.

Тогда мальчик вооружился с головы до ног, спрятался за деревом и стал поджидать мать.

Наконец мать вышла во двор.

— Бах!.. Бах!.. Бах!.. — выстрелил мальчик. Но мать шла своей дорогой и глядела в небо — на гудящие в вышине самолеты.

— Бах!.. Бах!.. Бах!.. — стрелял мальчик.

Но матери было не до него.

— Я ведь выстрелил! — надрывался мальчик. — Так падай же!..

Вдруг мать бросилась к сыну.

— Бах!.. — стрелял мальчик. — Бах!.. Бах!..

Страшный грохот сотряс все вокруг. Мальчик словно окаменел. Мать упала, как подкошенная.

Мальчик быстро пришел в себя. Мать играет с ним в войну! От восторга он протяжно, торжествуяще вскрикнул и гордо закружился в пляске.

Мать лежала на земле неподвижно. Но наступило время оживлять ее. «Гоп!» — крикнул мальчик и взмахнул руками. С горстями, полными безотказного снадобья, ринулся он к матери, крикнул повелительно: «Ожила-а!». Но мать не шевелилась.

Было двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года...

Мальчуган познает много горя. Вырастет. Но никогда не купит ружья и не научит своего сына играть в войну.

Шалва РАДИАНИ

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ

Творчество Георгия Леонидзе — одна из самых ярких и светлых страниц современной грузинской поэзии. Великая любовь к человеку, высокий патриотизм, большая поэтическая культура сделали каждую строку поэта бесконечно дорогой и близкой не только грузинскому читателю, но и всем народам, на языки которых переведены его произведения.

Четкость и доходчивость стиха Г. Леонидзе — это не следствие упрощения языковых форм и снижения художественной выразительности. Отнюдь нет. Это — проявление творческой зрелости, совершенного мастерства, высокого поэтического вкуса поэта.

Лексика Георгия Леонидзе искусно сочетает и веками вырабатывавшиеся нормы современного грузинского литературного языка, и живость народного говора; направленная динамичность метафор, яркая живописность эпитетов, исчерпывающая точность и ясность сравнений несут в себе глубоко опосредствованную мысль, проникнутую таким же глубоким идейным содержанием. В каждом своем произведении поэт Леонидзе предстает пламенным певцом нового общества и ярким поборником мира и дружбы народов.

* * *

Георгий Леонидзе родился 27 декабря 1899 года в селе Патардзеули в Кахети в семье учителя Николая Семеновича Леонидзе. Отца своего Георгий Леонидзе не помнит — он умер, когда будущему поэту исполнился год. Нико Леонидзе был человеком передовых взглядов, одним из активных членов горийского кружка народников, сотрудничал в «Дрозба» и «Иверии». Его заслуги на ниве просвещения в свое время отметила газета «Иверия», которую редактировал Илья Чавчавадзе.

Забота о детях свалилась на плечи матери поэта — Софьи Николаевны Гулисашвили. Как вспоминает поэт, именно она пробудила в нем интерес к истории и литературе. На развитие творческой фантазии Г. Леонидзе большое влияние оказали народные сказители из родного села. Именно с их помощью Г. Леонидзе освоил богатый грузинский фольклор. Близость к крестьянам, к простым людям дала поэту неиссякаемый материал для его поэтических творений.

Г. Леонидзе было восемь лет, когда его определили в Тбилисское духовное училище. В 1913 году он блестяще окончил полный курс этого училища и поступил в Тбилисскую духовную семинарию, где его учителем был известный грузинский писатель Василий Барнов.

Писать стихи Г. Леонидзе начал еще учеником. В 1910 году в журнале «Джеджили» был напечатан его первый перевод. В 1911 году в «Синатле» опубликованы его стихи «Мцхета» и «Сабле». В период пребывания в духовном училище и семинарии Г. Леонидзе печатает исторические очерки. Публикует также в прессе материалы грузинского народного творчества.

В 1916 году Г. Леонидзе редактирует художественный альманах «Сапирони» («Сапфир»); в 1918 году он связывается с грузинскими символистами «голубороговцами». Г. Леонидзе отмечает, что задачей членов этой группы были поиски «голубого цветка» — новалиса. В жизни им свойственна была богема, в поэзии — мистика. Все они находились под влиянием французского и русского символизма, были увлечены «Бедным учеником» Франсуа Вийона; среди «голубороговцев» царил культ Артура Рембо и Александра Блока. В 1919 году в Кутаиси издала стихи Стефана Малларме. На кутаисских улицах читали его «Лебеда». Г. Леонидзе указывает, что именно привело его к этой группе: «У символистов меня прежде всего привлекло техническое богатство стиха, формальная правдивость, поиски, борьба за ритм, музыкальность... В 1918—1920 годах Бодлер, Верлен, Рембо, Блок, Аренский стали моими любимыми поэтами. Вскоре я дошел до такого поэтического нигилизма, что вообще считал излишним писать стихи после Рембо. В моем представлении было труднее и сложнее написать «Пьяный корабль», чем «Илиаду».

Поначалу молодой Г. Леонидзе взял на вооружение принципы символистской школы «голубороговцев». Вспомним его стихи — «Ода Пикассо», «Литания», «Тбилисская бойня», «Барс», а в «Автопортрете» он сравнивал себя с Рембо.

Но Г. Леонидзе не пошел по пути декадентской поэзии. Ведь сам он указывает: «Вскоре моя вера в эстетизм и отвлеченный артистизм пошатнулась, и я вернулся к действительности. Постепенно преодолел духовный кризис, символистские влияния, отрубил камерность эстетизма и вернулся к народной речи, живому народному слову. В этом мне помогла близость к национальным устоям». Насколько искусственной была его близость с «голубороговцами», ясно видно из его стихотворения «Новолуние в Кахетии», первый вариант которого был написан с позиций символистской эстетики, но совершенно не соответствовал духу поэта. Большинство произведений, написанных в годы поэтического возмужания, ни в коем случае нельзя отнести к декадентско-символистской поэзии. Стремление к ясным, точным образам Г. Леонидзе сознательно противопоставлял туманным и странным образам символистов. Будет справедливо отметить, что символизм и причастность к «голубороговцам» никогда не определяли основное направление и пути развития поэзии Г. Леонидзе.

Г. Леонидзе придерживался образцов старой грузинской поэзии, преимущественно эпохи Возрождения. Многие его стихи сохраняют отзвук творений Теймураза Первого, Давида Гурамишвили, Бесариона Габашвили и других грузинских поэтов прошлого. «Взращенный из пепла» древних грузинских поэтов, Г. Леонидзе (как он сам говорил «В Мцхетских горах») старался вступить на их путь, продолжить их славные традиции.

В своих ранних стихах Г. Леонидзе постоянно обращается к древности. В них одна за другой следуют исторические картины, в которых раскрывается величие и благородство грузинского народа. Каждый камень седой старины хранит память тех, кто был гордостью древней Грузии. Из стихотворений, написанных на исторические темы, встает полная трагизма история грузинского народа. Наша летопись «Жизнь Картли» представляется ему правдивым отражением этого прошлого. Этой теме поэт посвятил цикл стихов «Жизнь Картли». Аналогичное представление о прошлом нашей страны и в его стихотворении «Тринадцатый век». Он описывает разрушительное нашествие Чингис-хана. В этом произведении оживает древняя Грузия. Оно оставляет глубокое впечатление своей правдивостью и поэтичностью.

Поэт великолепно знает прошлое своей страны. Но изображение его для Г. Леонидзе — не самоцель. Он считает, что в прошлом есть и свои положительные стороны, и люди должны знать, изучать и понимать историю своей родины и народа.

Для Г. Леонидзе красота и любовь — категории вечные, бессмертные. По его мнению, Нино Чавчавадзе («Нино Чавчавадзе») потому бессмертна, что в ней воплотилась самая возвышенная на земле любовь и красота.

Г. Леонидзе воспевае любовь, как силу, которая приносит человеку самые прекрасные и дорогие чувства, ведет его к высшей радости бытия. Любовь возвышает и облагораживает человека, без нее жизнь безрадостна и однообразна. Искренняя и возвышенная любовь зовет к славным героическим делам. Г. Леонидзе называет любовь гением юности, величием мечты и стихов. Именно чудо любви возвеличило поэта («Чайка»); в его сердце — всегда утро, а в стихах — сияние серебра, потому что подобно жаворонку влетела в сердце его любовь. И это чувство постоянно живет в нем.

Воспевая любовь, поэт далек от сентиментальности, надрыва.

Поэзия Г. Леонидзе неотделима от молодости, весны и присущей ей силы и красоты: «стих и юность — их разделить нельзя, их одним чеканом чеканили». И так же неразделимы в сознании Г. Леонидзе переживания сегодняшнего дня и глубоко запавшие впечатления детства. Он с нежностью и лиризмом вспоминает рассвет своей жизни. Но идут годы, дети становятся взрослыми и «дождь больше не сыплет яхонт, и золотом больше не окрашены горы весной» (стихотворение «Золотой дождь»).

Вернуть прошлое невозможно, но хорошо, что «в сердце стучит старый дождь». Эти стихи проникнуты романтическим настроением, тихой грустью. Эта же тема снова возникает в его поэзии значительно позднее — в стихотворении «Реминисценция».

Когда Г. Леонидзе обращается к прошлому Грузии, оно становится для поэта живым источником сегодняшних его волнений. Судьбы великих грузинских поэтов Н. Бараташвили, В. Пшавела, А. Церетели, И. Чавчавадзе привлекают Леонидзе поисками идеала; но они не могли найти его в той социально-историче-

ской среде и поэтому в своих поисках и мечтах неизменно устремлялись в будущее.

Вся поэзия Г. Леонидзе — это вдохновенный гимн революции, свободно вздохнувшему народу. Поэт твердо знает — то, за что издревле боролись лучшие сыны родины, сегодня стало действительностью.

Г. Леонидзе прекрасно понимает, что настоящему искусству чуждо одно лишь увлечение прошлым, что великие произведения мировой литературы создавались в ответ на требования, продиктованные действительностью. Он пересматривает свои прежние эстетические принципы. У него рождается новое представление о месте поэта в жизни, новая гражданская программа его поэзии.

Г. Леонидзе заставляет слово служить светлой жизни своей родины. Его поэзия — поэзия полноты жизни. Раздвигается горизонт поэтического видения поэта, он поражает многообразием и актуальностью тематики. Современность бурно врывается в его стихи. И в них четко выражены черты подлинно реалистической поэзии. Прежде всего — это глубокое знание действительности, творческое осмысление жизни в процессе преодоления противоречий.

Г. Леонидзе в своих новых стихах поднимает личное до социальных высот, социальные проблемы делает своими личными переживаниями. Это и есть принципиальная особенность новой поэзии. Сплав личных переживаний и тем широкого общественного звучания придал поэзии Г. Леонидзе большую идейную значимость.

Новой жизни, показу ее героев отдает Г. Леонидзе весь жар души, всю свою поэтическую силу. Его поэзия — это мужественная поэзия высоких мыслей.

Безграничная любовь к родине — основа творчества Г. Леонидзе. Какого бы явления, события ни коснулся поэт, его взволнованность и пафос прежде всего проистекают из чувства глубокого живого патриотизма.

Стихотворение «Родина» написано в лучших традициях гражданской лирики поэтов прошлого, в частности поэзии А. Церетели, для которого родина была божеством; к нему он возносил свои молитвы, во имя его готов был сгореть, как свеча, испепелиться.

Свою любовь к родине Г. Леонидзе раскрывает в конкретных образах. Особенно это проявилось в стихотворениях, написанных в годы Великой Отечественной войны. Большую популярность снискало стихотворение Леонидзе «Не горюй, мама». В 1943 году на Таманском полуострове он был у могилы неизвестного воина-грузина, героически погибшего в бою с врагами. Этот факт и лег в основу стихотворения.

Раскрывая духовный мир советского человека, говоря об ушедших из жизни героях, Г. Леонидзе, как и все советские писатели, утверждал в сознании советских людей веру в то, что дело, во имя которого герои жертвовали жизнью, — бессмертно.

Стихи, согретые большим чувством, Г. Леонидзе посвящает победам нашей страны, ее процветанию. Он с восхищением говорит об обновленном Самгори и освещенном электрическими лучами колхозе, о местах новостроек, об усыпанных цитрусами оранжевых рощах, о Руставском заводе и обновленном Тбилиси. Вся любовь поэта адресована людям, созидающим новую жизнь.

В творениях Г. Леонидзе ярко выражена идея дружбы народов. Огромной любовью поэта проникнуты стихи, посвященные русскому народу, лучшим сынам украинского народа, Армении и Азербайджана.

Во время путешествия по демократической Венгрии родился цикл стихов о всепобеждающих идеях революции, окрыляющих народ Венгрии в строительстве новой свободной жизни.

Поэт всюду видит, как крепнут ряды сторонников дружбы и мира. Восставшее из пепла чешское село Лидице — символ того, что люди страстно стремятся к миру.

В творчестве Г. Леонидзе особое место занимают образы борцов за революцию. В цикле стихов, посвященных конкретным историческим лицам и реальным событиям, конкретные эпизоды показаны не изолированно, а в общей цепи исторического процесса. Захватывающая красота природы, живописные села, поля, горы, подпирающие небо, грозные реки и стремительные водопады создают фон, на котором развивается основная сюжетная линия произведений на эту тему.

В кровопролитных боях грузинский народ отстоял свою родину. Памятники древности — свидетели борьбы отважного народа с ордами завоевателей. Г. Леонидзе рисует ужас и черноту старой жизни. Народ чувствовал, что выход из такого бедственного положения только в борьбе.

Здоровый дух жизни воплощен в природе, и это наполняет лирического героя радостным мироощущением. Родная природа — стихия Г. Леонидзе. Его пейзажные зарисовки отличаются наблюдательностью, ясностью мысли. Поэту ве-

домы такие краски, такие тайные голоса, такие ароматы, какие доступны только подлинному художнику и большому мастеру.

Г. Леонидзе вовсе не старается разглядеть в природе какую-то тайну, неведомую человеку, не ищет в ней отчуждения от обычной жизни. Необычайной высоты в своем поэтическом видении природы, в философских обобщениях поэт достигает в стихотворении «Олэ».

Поэт обращается к своему любимому дереву: «Разорви узы своего одиночества, олэ!». Это стихотворение написано с такой экспрессией, изобилует такими прекрасными рифмами и образами, так великолепно в своем ритмическом построении, что по праву может быть причислено к лучшим образцам мировой романτικο-философской поэзии.

Тема одиночества имела место в грузинской поэзии первой половины XIX века. Достаточно назвать шедевр Н. Бараташвили «Чинара», где есть строки об одиноко стоящем дереве. Другой поэт той же поры Михаил Туманишвили в своем элегическом стихотворении «Пустыня» рисует мрак пустыни, подверженной бурям, где на высокой скале одиноко стоит грустное дерево с обломанными ветвями. «Олэ» Г. Леонидзе — тоже символ одиночества, которое по сути своей противоречит всему духу поэзии Леонидзе.

Особое место в творчестве Г. Леонидзе занимает большая лирико-эпическая поэма «Портохала». Портохала — обобщенный образ грузинской крестьянки, женщины-матери, веками возделывающей землю, растящей детей, несущей непосильное бремя рабской жизни.

События разворачиваются на фоне далекого прошлого. В центре внимания поэта — народ, истинный творец истории. Именно об этом герое в свое время мечтал Илья Чавчавадзе.

Описывая жизнь Портохалы, Леонидзе указывает, что жила она в Колхиде, когда «еще Шота в помине не было», и росла в темной пахче. Ее отец был рыбаком, который по бедности всегда ходил босым. Вокруг — болезни и несчастья. Но и после замужества пути бедности не отпустили Портохалу.

Поэт прибегает к своеобразному художественному приему и вводит Портохалу в современность, чтобы показать ей новую жизнь грузинского народа, грузинской женщины...

Вся поэма пронизана высокой лиричностью, но она несет в себе черты, присущие эпической поэзии, и лирическая стихия поэмы постоянно перемежается с элементами эпического повествования.

По объему «Портохала» невелика, но сказано в ней необычайно много. Как широк ее исторический разбег, какое глубоко философское осмысление и прошлого Грузии и ее сегодняшнего дня!

«Самгори», по замыслу автора, — героическая эпопея. В ней отражены эпизоды жизни Вахтанга Горгасала и история основания Тбилиси.

В поэме Г. Леонидзе не отходит от исторической правды, в ней проходит целая галерея исторических лиц, рассказано о подлинных исторических событиях и эпизодах. Но все эти исторические факты осмыслены поэтически. Поэтому в «Самгори» есть любовно-романтическая линия и вымышленные персонажи.


В своих эпических произведениях Г. Леонидзе стремится к большим художественным обобщениям, что сполна проявилось и в «Самгори». Это — сложное и многоплановое полотно, в котором история вечно юной грузинской столицы — Тбилиси — непосредственно переплетается с ее настоящим.

На всем творчестве Георгия Леонидзе лежит печать его тесного соприкосновения с народным творчеством. Фольклор расцветивает его лексику, фразеологию, синтаксис.

Описывая нравы и обычаи своего народа, поэт создает яркие, колоритные картины, также построенные на распространенных в народной поэзии особенностях. Популярные в народных песнях и сказаниях образы Амირани и Арсена в поэзии Леонидзе вылеплены такими, какими их создал гений народа.

Но все это не имеет ничего общего со стилизацией. Как говорил сам поэт: «Корнями из народа я расту...» и «...в народ ветвями я расту, как в небо»; любовь к грузинскому фольклору прошла не только через его сознание, она вошла в его сердце и стала органичной, неотъемлемой чертой всей его поэзии. Трудно назвать стихотворение Леонидзе, в котором бы в полной мере не ощущалось это слияние именно его, леонидзевского поэтического духа с духом народной поэзии.

Георгий Леонидзе вошел в литературу как блестящий поэт и неустанный исследователь грузинской литературы. В последние годы своей жизни он обратился к прозе: новеллы, навеянные воспоминаниями о прошлом, вышли отдельной книгой под названием «Волшебное дерево». Воспоминания Г. Леонидзе о



детстве и отрочестве постоянно живут в душе поэта. Он вновь и вновь переживает увиденное когда-то. Рассказы «Волшебного дерева» автобиографичны. Рассказ ведется от первого лица, но объективность видения мира сложных творческих жизненных процессов ни в чем не нарушена.

Пора детства и отрочества — самая светлая, гармоничная пора в жизни человека. Юноша воспринимает мир единым, великим и прекрасным. В рассказах проходит целая галерея односельчан Г. Леонидзе — ярких, колоритных деревенских типов, которые отчетливо запечатлелись в сознании поэта, — Элиоз, Ягор, Ражден, Ниниа, Маико. В этой книге нет экспозиции, завязки и развязки в обычном понимании. Отдельные главы представляют собой законченные истории.

В этих новеллах Г. Леонидзе в необыкновенно ярких реалистических картинах и образах показал нравственное величие народа — создателя всех человеческих ценностей, носителя высокой морали.

Книга открывается восторженным гимном грузинской матери, которая научила поэта всему самому дорогому.

Все произведение с начала до конца проникнуто любовью к родному народу. Поэту не безразлична судьба каждого героя, чуждо отвлеченное описание, частное и конкретное он всегда поднимает до художественного обобщения.

Г. Леонидзе никогда не ограничивается рамками чисто психологических коллизий. Он намеренно противопоставляет внутренний мир своих героев и явления внешнего мира. По-своему мудр и гуманен Цицикоре, который очень заботился о родном селе и его людях, бескорыстно служил им и думал о единстве и счастье своей страны. Любящим родину, озабоченным ее судьбой, но чересчур мечтательным человеком выведен Чорехи; вместе с Цицикоре и Чорехи в памяти читателя глубоко запечатлевается трагический образ Мариты.

Большое впечатление производит «Смерть старого пахаря».

Рассказом спокойного, доброго труженика Маико писатель утверждает мысль о бессмертии жизни: «Никогда жизнь не будет рабыней смерти, никогда!» В этом заключении — все оптимистическое мировоззрение Г. Леонидзе, его философия жизнелюба.

«Волшебное дерево» — это произведение о вечной молодости, труде, народе, родине, мечте, поиске, дружбе...

Корни поэтики Г. Леонидзе глубоко проникают в национальную почву; его поэзия пропитана соками родной земли, находится в неразрывной связи с национальной поэтической культурой.

Свою главную поэтическую задачу и самую заветную мечту Георгий Леонидзе видел в том, чтобы «сказать свое поэтическое слово в национальной форме, показать красу и силу родного слова и тем самым передать дух своего народа, народа-труженика, создателя» (Автобиография). И то, что ему так полно и ярко удалось выполнить свою творческую программу, сделало Георгия Леонидзе одним из выдающихся представителей современной советской поэзии.

К ОДНОМУ ИЗ КОРЕННЫХ ВОПРОСОВ МИРОВОЗЗРЕНИЯ РУСТАВЕЛИ

О мировоззрении Руставели высказано так много различных соображений, что один только их перечень занял бы все страницы, любезно отведенные для данной статьи редакцией журнала. Поэтому мы попытаемся в позитивной форме изложить наши соображения по одному из коренных вопросов мировоззрения Руставели без указания авторов и источников — они хорошо известны широкому кругу читателей.

В последнее время многие руствелологи заняты доказательством близости «Вепхисткаосани» к Библии, кропотливыми поисками в Ветхом и Новом заветах отдельных положений, якобы, буквально повторяемых персонажами поэмы и тем самым определяющих ее основное идейное содержание. Подобный метод исследования мировоззрения поэта а limine отвергает специфику художественного мышления, — если автору поэтического произведения приписывать все те мысли и чувства, которыми он наделяет своих персонажей, то этим мы вообще отрицаем наличие у него своего собственного мировоззрения или же признаем его невообразимым эклектиком. Разумеется, без учета высказываний персонажей нельзя постигнуть мировоззрение автора эпического произведения, Руставели — особенно, потому что он в отличие не только от восточных, но и от западных поэтов своей эпохи исключительно скуп на «лирические отступления». Однако для того, чтобы определить, какие мысли, идеи и чувства отдельных персонажей более или менее совпадают с авторскими, необходимо предварительно как можно глубже вникнуть в общий идейно-художественный замысел, во весь внутренний строй идей и мыслей, во всю художественно-эстетическую структуру произведения.

Прежде всего необходимо заметить, что обычная альтернатива — либо атеизм, либо религиозная вера — нуждается в существенной поправке¹. Отвергая приверженность Руставели к библейско-христианскому мировоззрению, мы вовсе не объявляем его ни атеистом, ни материалистом, как это делали и делают ныне отдельные руствелологи². Достаточно лишь перелистать поэму

Сокращенное изложение одной из глав подготовленной к печати книги автора — «Вепхисткаосани» как грузинский национальный эпос.

¹ Наиболее общей и существенной чертой всех существовавших и ныне существующих религий, включая и язычество, является тот или иной культ и связанные с ним обряды, обычно поддерживаемые государством даже в тех редких случаях, когда та или иная религия формально не считается государственной, и имеющие своих постоянных служителей, организованных в ту или иную форму иерархии. Отрицание не только этих культовых обрядов, но и даже «узаконенного» представления о сущности бога само по себе вовсе не означает атеизма. Как известно, Сократ не был атеистом, хотя и был осужден на смертную казнь за отрицание существовавших в его эпоху представлений о боге и связанных с ними культовых обрядов.

² Как это ни странно, в грузинской руствелологической литературе существует версия о «пантеистическом материализме» Руставели, якобы, по примеру Спинозы. Во-первых, само понятие «пантеистический материализм» противоречиво, ибо пантеизм означает признание божественной сущности мира и объявление материальной формы бытия лишь чувственной видимостью этой сущности. Спинозу объявляли пантеистом лишь идеалистические интерпретаторы его философии. На самом деле Спиноза лишь внешним образом использовал теологический термин «бог», чтобы на природу перенести приписываемые ему теологией атрибуты: несотворимость, неуничтожаемость, всемогущество и т. п. (К сожалению, неправильным понятием «материалистический пантеизм» пользуются некоторые современные марксистствующие немецкие философы, приписывая его даже Фейербаху лишь на том основании, что он придает чувству любви религиозный оттенок). Во-вторых, нет надобности в философском анализе для того, чтобы видеть резкое различие, проводимое Руставели между богом и природой («сопели»).

Руставели, чтобы убедиться, что бог занимает решающее место во всей идейно-художественной структуре этого произведения, и всякая попытка объявить его фикцией или простым символом «полноты бытия» означает искажение сути да великого поэта. Поэтому от понимания сущности руставелевской концепции бога зависит и понимание наиболее общей сущности мировоззрения Руставели. В данном случае нас главным образом занимает вопрос: каково отношение руставелевского понимания бога к ортодоксальной библейско-церковной концепции³.

С самого же начала следует подчеркнуть, что по своей общей направленности мировоззрение Руставели — христианское, и всякая попытка оторвать его от общехристианского образа мыслей заранее обречена на неудачу. Но известно, какую большую эволюцию проделало христианство от своей первоначальной формы, еще до возникновения христианской церкви; а в процессе дальнейшего развития библейско-церковной теологии эта эволюция приняла еще более радикальный характер. Хотя история первоначального христианства окутана довольно густым туманом, но ясно одно: христианство возникло в противовес не только язычеству, но и библейскому иудаизму. Не случайно, что в мифологической истории жизни и деятельности Христа именно иудаизм проявлял непримиримую враждебность к нему, и даже распятие Христа приписывается иудейским духовным и светским властям. Но в своем возникновении христианство противостояло не только иудаизму и язычеству, но и всем остальным религиям, приспособленным к интересам эксплуататоров и угнетателей. Этим и объясняется гонение и преследование первоначальных христианских общин римскими

³ У нас нет здесь возможности хотя бы с относительной полнотой рассмотреть вопрос о приписываемой Руставели неоплатонистской концепции бога, хотя эта версия довольно широко была распространена в руставелологии и в наши дни имеет немало своих адептов. Известно, что уже первые «отцы церкви» при создании церковно-библейской теологии опирались на неоплатонизм, который устраивал их по многим своим свойствам, прежде всего своим «фантастическим» (Маркс) эклектизмом (напр. Прокл не ограничивался даже общеполитическим эклектизмом, признавал и соблюдал обряды всех известных ему религий. См. Fr. Artz, *The mind of the middle ages*. N. Y., 1958, p. 90) и мистицизмом. Кажущиеся на первый взгляд непримиримыми библейско-церковный принцип креационизма и неоплатонистский принцип «эманации» в своей сущностной основе совпадают: согласно библейско-церковной версии бог творит мир «из ничего», то есть из своей собственной сущности. Не то же ли самое означает «эманация», то есть «истечение» мира, наподобие света, из божественной сущности?! Из этого логически следует, что чувственно-материальный мир не должен отчуждать человека, причастного к этому миру своим телом, от бога. А между тем, именно от неоплатонизма перешло к церковно-христианской теологии предельное отчуждение мира от бога, признание его абсолютным источником зла. Как известно, главнейший представитель неоплатонизма, его фактический основатель (поскольку Аммоний Сакка выдвинул лишь наиболее общие и отрывочные принципы неоплатонизма) Плотин даже стыдился наличия у него тела. Именно этот неоплатонистский принцип, развитый главным образом тремя каппадокийскими «отцами церкви» и особенно Псеввдодионисием Ареопагитом, лег в основу христианского церковно-монашеского аскетизма. Целью человека должно быть, говорит Псеввдодионисий, забвение самого себя и земного мира и исчезновение (*tolose himself*) в боге. (См. Фр. Арцц, цит. соч., стр. 75). Церковь абсолютно необходимо было признание существования источника зла для «объяснения» греховности человека и своей «посреднической» миссии между богом и человеком.

Что же касается мистицизма, то он является неотъемлемой принадлежностью всякой религии. Еще Туртуллиан показал, что без мистического «абсурда» не может существовать церковно-христианская вера и этот мистический элемент никогда не был преодолен церковно-христианской теологией. Вовсе не случайно, что мистическое учение Псеввдодионисия, после перевода его сочинений на латинский язык Эуригеной в IX веке, легло в основу официальной церковно-католической теологии (а православной церковью оно было канонизировано еще в VII веке). Когда хотя и медленный, но все же неуклонный прогресс научного знания вызвал потребность хоть в кое-какой рационализации библейско-церковной мистики и на этой почве возникла так называемая схоластика, оказалось, что попытка философского обоснования «священного писания» не только безнадежна, но и крайне опасна для церкви. Наиболее ярким свидетельством этому является печальная судьба знаменитого сочинения Абельяра «*Sic et non*». Поэтому вновь был восстановлен в своих правах неоплатонистский мистицизм, и «ангельскому доктору» Фоме Аквинскому пришлось ломать голову над компромиссным размежеванием областей религиозной веры и рационального познания.

С неоплатонистской концепцией бога роднит Руставели признание добра его главнейшим атрибутом. Многие считают, что Руставели воспринял это положение от

ми властями, которые, как известно, санкционировали религии всех покоренных народов и ввели их богов в римский пантеон. Этим же объясняется и огромная популярность первоначального христианства среди эксплуатируемых и угнетенных масс. Возникновение христианской церкви знаменовало приспособление самого христианства к интересам эксплуататоров и угнетателей, и христианская церковь принимает на свое вооружение ветхозаветную Библию. Новый завет в своем принципиальном содержании мало чем отличается от Ветхого завета, и если признать Новый завет подлинным выражением сущности первоначального христианства, то никак нельзя объяснить непримиримое столкновение иудаизма с проповедью первоначальных христиан. По свидетельству даже католически настроенного историка средневекового мировоззрения Г. Эйкена, возникшая через полтора-два века после зарождения христианского учения церковь «полностью уничтожила благородную гуманность нравственного учения христианства»⁴. Только на этой основе, на основе возникновения неравенства среди самих христиан в виде деления их на «пастырей» и «паству» и эксплуатации последней первыми могло произойти примирение римского рабовладельческого государства с христианством и даже объявление его государственной религией императором Константином.

Вместе с признанием Ветхого завета церковное христианство разрушило принцип единства бога и человека первоначальных христиан, воспринятый ими, видимо, от древнегреческой мифологии и выраженный в мифе об очеловечении бога в лице Христа. В Новом завете был восстановлен ветхозаветный иудейский бог-тиран, мстительный, ревниво выслеживающий малейшие грехи человека и карающий его за грехи вечными муками в аду. По существу была сведена на нет сама основа христианской мифологии: искупление Христом своей смертью человеческих грехов. Христианская церковь могла возникнуть только на основе глубокого отчуждения между богом и человеком и признания «греховной природы» человека. Именно на этой основе присвоила она себе посредническую миссию между человеком и богом и взяла на себя роль выразительницы «воли божьей» перед людьми. Она утилизировала все суеверия невежественных масс, в том числе и языческие, и создала целую сложную систему культовых обрядов в виде молитв, постов, жертвоприношений, причем даже сама молитва для своей эффективности должна была совершаться в «доме божьем» при нарочито усложненном ритуале церковного богослужения. Именно из принципа посреднической миссии церкви могла возникнуть чудовищная по своей безнравственности система индульгенций. Кроме того, как раз церковь ввела то отвратительное расхождение между словом и делом, ту «ложь и двуличие», которые Руставели, глубоко проникая в суть человеческих отношений, считает главной основой зла. На словах она проповедовала бедность и воздержание, а на деле сама обогащалась всеми способами и средствами⁵; на словах она провозглашала смирение, а на деле жадно протягивала руку и к светской власти, в результате чего рекой лилась кровь христианской «паствы» в борьбе между римскими папами и императорами «священной Римской империи», заполняющей почти всю военную и политическую историю средних веков; на словах она проповедовала любовь, братство и милосердие, а на деле жестоко карала «инакомыслящих» и даже изобрела чудовищную форму бескровной казни — сжигание живым на костре. Обо всем этом мы напомним здесь потому, что церковники оправдывали все свои деяния «волей божьей», и библейская концепция крайне самовлюбленного, мстительного и карающего бога и на самом

Псевдодонисия, забывая о том, что оно восходит к первоначальному христианству, от которого и заимствовал его неоплатонизм, служивший главным философским источником почти для всех «отцов церкви», включая Псевдодонисия. Известно, что основатель неоплатонизма Аммоний Сакка вначале был христианином. Но концепция Руставели коренным образом отличается от неоплатонистской в важнейшем вопросе отношения бога к чувственно-материальному миру. На руставелевском понимании этого вопроса мы особо остановимся ниже. То же самое следует сказать и о второй общей черте неоплатонистской и руставелевской концепций — признании непостижимости образа бытия бога. Некоторые руставелологи находят у Руставели неоплатонистское учение о «восхождении человека к богу». Ниже будет показана вся неосновательность этого утверждения.

⁴ Г. Эйкен, Система и метод средневекового мировоззрения, стр. 124.

⁵ Именно церковники в своих корыстных целях распространили версию о «втором пришествии» и конце мира в 1000 году, в результате чего массы «профанов» бросали, вернее «завещали» церкви своё имущество во имя «спасения души» и отправлялись в монастыри и пустыни (см. яркое описание этого в цитированном выше сочинении Г. Эйкена).

деле давала им кое-какое основание для оправдания своих действий⁶. Поэтому и кажется нам, что исследователи, сближающие идейное содержание «Витязя в тигровой шкуре» с Библией, объективно стирают возвышенное нравственное содержание бессмертной поэмы. Если бы ее идейное содержание было пропущено то библейско-церковным духом, был бы совершенно непонятен бесспорно установленный факт враждебного отношения к поэме со стороны высших представителей духовенства. Попытки объяснить это упоминанием в поэме «троицы» или же воспеванием в ней «земной любви» грешат двояко: во-первых, упоминание троицы и воспевание земной любви действительно означает отступление от Библии, во всяком случае от Нового завета и уж никак непригодно в качестве аргумента в пользу сближения поэмы с Библией; во-вторых, игнорируется факт, что не менее, если даже не более бдительное католическое духовенство на Западе не проявляло такой враждебности к воспеванию не только земной любви, но и даже адюльтера многими поэтами: средневековья, причем воспевание адюльтера было настолько распространенным явлением, что благородный Вольфрам фон Эшенбах был вынужден выступить своей поэзией в защиту супружеской любви⁷.

Духовенство простило бы Руставели не только упоминание троицы, но и более крупные прегрешения против самой церкви, если бы он в своей поэме отвел церкви и духовенству то место, которого требовала средневековая традиция. Но оно не могло простить поэту такой неслышанной в условиях средневековья дерзости, как полное игнорирование церкви и ее служителей. И это было не простым «афронтом» Руставели против церкви и духовенства, а органически вытекало из всей его идейно-мировоззренческой позиции. Подобно первоначальному христианству, Руставели исходит из единства бога и человека, и это не оставляет места для церкви как посредницы между ними. Руставелевское понимание сущности бога исключает все виды культовых учреждений и обрядов. Из всей идейно-тематической и даже сюжетной структуры «Витязя в тигровой шкуре» вытекает, что бог не требует от человека никаких молитв, жертвоприношений, воздержания от пользования благами мира и тому подобного⁸.

⁶ Разумеется, мы вовсе не забываем, что как в Ветхом, так и в Новом завете есть немало возвышенных идей и мыслей, но в данном случае нас интересует библейская концепция бога, которая в известной мере оправдывала практику церковников. Уже сам миф об изгнании богом Адама и Евы из рая явно свидетельствует о тиранничестве природы бога: разве не во власти самого бога было предотвратить «грехопадение» Адама и Евы, не говоря уже о жестокости наказания?! Но ведь «священное писание» составлено самими служителями церкви, само существование которой зависит от признания греховности человека и мстительного и карающего бога. Конечно же, авторы — церковники, объяснявшие для обмана масс свои писания «божественным откровением», были не так глупы, чтобы не позолотить снаружи мрачное ядро библейской концепции бога. Подчеркивая отвратительную практику церковников, мы имеем в виду, главным образом, высшие слои духовенства. Что же касается «рядового», так называемого «приходского» духовенства, то значительная часть его играла несомненно положительную роль в нравственном воспитании. Не забываем мы и о положительной роли многих монастырей как очагов распространения культуры и грамотности, но это — другая сторона вопроса.

⁷ Кстати заметим, что в свое время выдвинутая К. Кекелидзе, но впоследствии отвергнутая им самим версия о «куртуазном» характере любви, воспеваемой в «Вепхисткаосани» до сих пор находит отдельных адептов. Даже трудно понять, что толкает исследователей к подобному выводу. Куртуазия была в Западной Европе одной из разновидностей рыцарской любви и имела не только ярко выраженный этикетный характер, но и культивировала адюльтер. Она располагала даже формально разработанными правилами и приемами, в значительной своей части фиксированными и документально, и свидетельствовала о разложении нравов среди феодальной знати. Опираясь на «Ars amatoria» Овидия, представившего у самого автора своего рода сатиру на разлагающуюся римскую аристократию, искажая и приспосабливая его к нравам своих, так же нравственно разлагавшихся феодалов, ловкие авторы создавали специальные «пособия»: как соблазнять женщин различного социального и семейного положения и различного возраста (см. Gaston Paris, *La poesie du moyen ages*, Paris, 1895, tome premiere, pp. 189, 191. Cp. W. P. Ker. *Epic and romance*, London, 1897, p. 395, или, как говорит Бренан, наставления «любви и ухаживания» — *models elegantes per el amor y el cortejo*. См. Brenan, *Historia de la literatura Espanola*. Buenos Aires, 1958, p. 174). Отождествлять с этим любовь, воспеваемую в «Вепхисткаосани», вряд ли простительно даже тем, кто знаком с поэмой понаслышке.

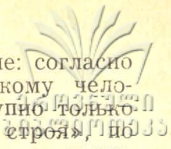
⁸ Могут возразить: разве Автандил не совершает молитву перед вторичным отправлением к Тариелу? Но такое возражение нам кажется малобудительным. Факт со-

Обнаруживая явно пренебрежительное отношение к обрядам церковно-христианской религии, Руставели в то же время выражает исключительно благоговейное отношение к самому богу. Вся поэма проникнута убеждением в решающей роли бога в жизни человека. Вместе с тем, в поэме не дается определение самой сущности бога, за исключением многократно упоминаемой доброты, что весьма затрудняет выяснение руставелевской концепции, но нам кажется, что посредством вдумчивого охвата всего идейного строя поэмы и сопоставления ее различных контекстов, можно составить некоторое представление о ней, не выходящее, однако, за рамки гипотезы, — на большее вряд ли вообще можно претендовать, располагая лишь единственным, сугубо эпическим произведением. При внимательном чтении поэмы в первую очередь напрашивается вывод, что бог имеет отношение главным образом к жизни и деятельности людей и почти полностью индифферентен в отношении явлений природы. Могут сказать, что поэма занята судьбами людей и у поэта не было повода обращаться к вмешательству бога в явления природы. Но ведь все эпические произведения заняты судьбами людей, однако поэты средневековья находили довольно много поводов для показа такого вмешательства преимущественно в виде нарушения богом естественного хода вещей. Перечисление примеров заняло бы целые страницы. Нашел же, например, подобный повод автор «Песни о Роланде» в виде обращения Карла Великого к богу с просьбой остановить солнце до завершения успешного сражения его войска с врагом по примеру библейского Иисуса Навина. По географическому и хронологическому диапазону поэма Руставели не уступает почти ни одному эпическому произведению, за исключением «Одиссеи» и «Шах-наме», и ее автор мог найти множество поводов для показа всякого рода сверхъестественных явлений, вызываемых богом.

Точно так же при внимательном чтении «Витязя в тигровой шкуре» нельзя не прийти к выводу, что бог не окружен непроницаемой завесой таинственности. Правда, и по Руставели сам образ бытия бога непостижим. Но ведь для человека важно постижение не образа бытия бога, а его предназначений; именно в них и через них является бог человеку. А эти предназначения, согласно Руставели, доступны человеческому знанию. Именно об этом говорится в «Завещании» Автандила, несомненно, выражающем идеи автора: мы учимся философской мудрости для того, чтобы подняться до постижения «высшего строя». Из всего контекста видно, что под «высшим строем» подразумевается именно божественный порядок, божественные предназначения, которыми должен руководствоваться человек в своей жизни⁹. В этом вопросе взгляд Руставели принципиаль-

вершения молитвы Автандилом свидетельствует скорее о реалистической тенденции (разумеется, не в современном понимании реализма), — автор изображает Автандила человеком своей эпохи, — а не о признании значения самой молитвы. Ведь мы имеем прямое свидетельство отрицательного, даже иронического отношения к молитве: не говорит ли Автандил о моллах, молившихся на Коране об излечении Тариела, впавшего в тяжелый обморок, что они несли «несусветную чепуху»? Кроме того, даже в этом единственном случае совершения молитвы (не будем же называть «молитвой» всякое обращение персонажей поэмы к богу!) Руставели обнаруживает явное пренебрежение к этому обряду: во-первых, Автандил совершает молитву у себя дома, а не в «доме божьем», как, например, Сид, устроивший перед походом торжественную мессу. Во-вторых, в нарушение церковно-христианской традиции, воспринятой, видимо, не только от Ветхого завета, но и от античных греков (ср. жертвоприношение Агамемнона перед походом на Троию), Автандил лишь обещает богу принесение жертв, если тот ему дарует успех. Подобная «беззаботность» Руставели в отношении обряда молитвы и жертвоприношения не может быть истолкована в духе «незнания» Руставели самого ритуала — он просто не придает никакого значения подобным обрядам в отношении бога к человеку.

⁹ Некоторые руставеловеды усматривают в этих словах (строфа 780) неоплатонистское учение о «восхождении человека к богу», наиболее полно развитое Псевдодионисием, от которого, якобы, и воспринял его Руставели. Но достаточно сравнить смысл приведенных слов со смыслом учения Псевдодионисия, чтобы стала ясной вся несостоятельность подобного взгляда: согласно Псевдодионисию, человек поднимается к богу (буквально — «обожествляется») посредством «незнания», когда душа оставляет позади себя все восприятия органов чувств, все чувственные перцепции и все разумные размышления сознания и полностью «погружается в темноту», в которой к ней проникают божественные лучи. Согласно Руставели, человек поднимается лишь до знания «высшего», то есть божественного строя, а не соединяется с самим богом, не «обожествляется», притом и это постижение высшего строя достигается через разум и учение; согласно Псевдодионисию, человек «обожествляется» посредством «умерщвления плоти», путем аскетизма, полного забвения всего «земного»



но отличается от церковно-религиозного, притом в двояком смысле: согласно Руставели, постижение божественных предначертаний доступно всякому человеку, тогда как, согласно церковно-христианской теологии, оно доступно только «избранныкам» бога, служителям церкви; и постижение «высшего строя», по Руставели, доступно человеческому разуму посредством учения и достижения мудрости, тогда как по учению церкви оно доступно даже самим избранникам бога не путем разумного познания, а лишь благодаря «божественной благодати», посредством «божественного откровения». Этот взгляд, наиболее усердно развиваемый Августином, который даже человеческую мудрость считал «божественной благодатью», оставался неизменным в церковно-христианской теологии, а в наши дни реакционная буржуазная идеология развенчивает разум даже в сфере познания чувственно-материального мира.

Разумеется, руставельский бог имеет и общие черты с церковно-христианским богом: а) бог наделяет человека душой, являющейся частичкой самого бога, вследствие чего она бессмертна; б) бог предопределяет человеческую судьбу. Но в обоих этих важнейших аспектах концепция Руставели настолько своеобразна, что почти сводится на нет ее общность с церковно-христианской концепцией. Согласно этой последней, бессмертие души имеет решающее значение для всей жизни человека, оно определяет все поведение человека, его отношение ко всей окружающей действительности. Ортодоксальная церковно-христианская теология рассматривала человеческое тело как «темницу человеческой души», и в соответствии с этим всю «земную жизнь» человека считала своего рода «проходной» либо в «рай небесный», либо в «ад крошечный». В первом из них душу ожидало вечное блаженство, во втором — вечные муки, причем путь к первому открывал лишь полный отказ от всех видов наслаждения земной жизнью. Именно эта сторона церковно-христианского учения особенно устраивала эксплуататоров и угнетателей. У Руставели бессмертие души не накладывает никакого отпечатка на земную жизнь человека. Абсолютно невозможно вычитать в поэме хоть малейший намек на то, что человек в своей земной жизни должен руководствоваться тем, что ожидает человеческую душу после отделения ее от природных стихий, то есть после смерти¹⁰.

Ни в общем идейно-художественном замысле «Витязя в тигровой шкуре», ни в тематическом и сюжетном раскрытии этого замысла нет никакого элемента, указывающего на то, что Руставели вообще интересуется тем, какая судьба ожидает человеческую душу после отделения ее от тела. Единственное, что можно утверждать с достоверностью — это признание поэтом возврата человеческой души к своему источнику (богу), но в каком виде существует душа после смерти человека, это его не интересует. Даже простое знакомство с идей-

и достижения состояния мистического экстаза. До Псевдодионисия этот неоплатонистский взгляд наиболее подчеркнuto выразил Григорий Нисский. Искать в «Вепхисткаосани» что-либо подобное было бы нелепо.

¹⁰ Некоторые руставелологи находят нечто подобное в «Завещании» Автандила, но для этого, по нашему мнению, нет никакого основания. Автандил завещает Ростевану весьма добрые дела вплоть до освобождения рабов и надления добром вдов и сирот, но он делает это лишь для того, чтобы в той же земной жизни оставить по себе добрую память («будут помнить и благословлять меня», строфа 793) без всякого намека на потустороннюю жизнь. Кроме того, в «завещании», как и в молитве Автандила, ни слова не говорится о «прощении грехов» и нет даже следов «раскаяния», как это обычно было принято в ту эпоху (вспомним пример Давида Строителя из грузинской действительности). Разумеется, персонажами поэмы не раз упоминается и рай и ад (под разными названиями—синонимами), но это делают они, как правило, во время клятв, приблизительно в таком же значении, как русское «ей-богу», — без этого персонажи поэмы утратили бы реалистические черты, которыми их наделяет Руставели в необходимой даже в средневековых условиях мере. В поэме мы находим единственное место, где Автандил в оправдание своего поступка — поездки к Тариелу украдкой, против воли царя Ростевана, — ссылается на то, что «в том веке», то есть в другом мире, Тариел может пристыдить его за нарушение клятвы. Но, во-первых, мотив Автандила принципиально отличен от церковно-христианского: речь идет о соблюдении чести, то есть Автандил прямо переносит в «тот век» нравственный принцип земной жизни. Во-вторых — и это главное — здесь нет и речи о возможном наказании Автандила богом в том мире за свой неподобающий поступок. Из контекста видно, что Автандил мог бы сказать совершенно то же самое, если бы мог рассчитывать на новую встречу с Тариелом в «этом мире». А ведь на мотиве возможного поощрения или наказания богом в «будущей жизни» основывалось регулирующее значение мысли об этой «будущей жизни» для земной жизни человека. В поэме же Руставели нельзя обнаружить и следа этого мотива

ной структурой «Витязя в тигровой шкуре» дает полное основание утверждать, что, согласно Руставели, представления и мысли людей о посмертном существовании человеческой души не играют никакой роли в определении принципов, норм и правил поведения в земной жизни. Возвышенные нравственные принципы, к которым призывает людей поэма Руставели, ни в едином пункте не связаны с мыслью о прощении или наказании богом человеческой души после отделения ее от тела так же, как они не связаны с каким бы то ни было запретом в отношении пользования человеком чувственно-материальными благами. Все это органически вытекает из руставелевской концепции бога, который является абсолютным олицетворением добра и совершенно свободен от человеческих пороков — эгоизма, мстительности, ненасытности, властолюбия и тому подобного — благодаря своей внутренней полноте и предельному совершенству своего чисто духовного бытия. Он ничего не запрещает человеку, кроме нарушения добра и справедливости, кроме «лжи и двуличия», которые Руставели, как сказано выше, называет основой всякого зла.

На первый взгляд может показаться, что Руставели разделяет церковно-христианский взгляд на природу как на источник зла. Как известно, в его поэме множество раз (два раза и от лица самого автора) упоминается «коварство» и ненадежность «сацутро», то есть временной (буквально — минутной) природной арены человеческого бытия. Но если вдуматься, что во всех контекстах «сацутро» означает в «Витязе в тигровой шкуре» не просто природную арену человеческого бытия как таковую, а совокупность всех внешних условий, как природных, так и социальных. Более того, главным содержанием понятия «сацутро» является как раз социальная среда, совокупность человеческих отношений, в первую очередь установившиеся взгляды, обычаи, нравы, традиции и так далее — не изолированно, а в связи с отношением людей к явлениям самой природы. Именно взаимодействие человека и природы может быть основой как зла и страдания, так добра и радости, в зависимости от разумности или неразумности человеческого отношения к природе. Но, повторяем, понятие «сацутро» включает в себя и совокупность чисто социальных элементов, выступающих для отдельных индивидуумов в качестве объективных условий их жизни и деятельности¹¹.

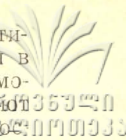
¹¹ Только в этом свете можно, по нашему мнению, объяснить ту удивительную, мы бы сказали, уникальную черту творчества Руставели, что он почти полностью игнорирует принцип «светотени» — противопоставления персонажей по признаку их доброго или злого характера, хотя идейным стержнем поэмы является именно борьба добра со злом. Это явствует не только из слов Автандила, который после обнаружения Нестандареджан произносит знаменитую фразу: зло побеждено добром, сущность его бесконечна, но и из всего идейного построения поэмы. А между тем в поэме мы не находим определенных носителей зла, с которыми приходилось бы бороться также определенным носителям добра. Разумеется, в поэме фигурируют персонажи с различными нравственными качествами — одни из них, как, например, Автандил, Тинатин и Асमत, более идеализированы, другие же, как Парсадан, Рамаз и другие, реалистичны чуть ли не в современном смысле этого слова, но никакого противопоставления их друг другу в аспекте добра и зла мы не находим в поэме. Некоторые руставеловеды склонны считать носителями зла «каджи», — видимо, под влиянием известного символического сравнения Акакием Церетели «каджей» с угнетателями Грузии, но сама поэма не дает никакого основания для этого. В самом деле, каджи ни на кого не нападают, они не насильственно похищают Нестандареджан, а она просто попадает к ним в руки в качестве случайной добычи пиратов. Возможное возражение: пиратами были ведь именно «каджи», — легко опровергается тем, что не только в средние века, но и в новое время пиратством занимались представители многих народов. Если скажут, что каджи держали Нестандареджан в плену, то ведь то же самое делал царь Гуланшаро Мелик-Сурхав, причем каджи точно так же, как и Мелик-Сурхав, предназначали ее для супружества с наследником трона. Но если в поэме не видно субъективных носителей зла, то есть в ней его объективные носители — это царь Парсадан и его супруга. Как известно, поэт изображает Парсадана субъективно таким же добрым, как и Ростевана, но он не обладает мудростью Ростевана и находится в плену вредных (разумеется, с точки зрения Руставели!) традиционных взглядов, будто представительница женского пола не может наследовать царский трон. Именно поступок Парсадана, субъективно патриотический и даже объективно рациональный! — ведь породниться с могущественным Хорезмом значило укрепить и усилить могущество Индии (вспомним слова супруги Парсадана на совете по поводу выдачи Нестандареджан замуж) — положил начало всем несчастиям и драматическим событиям, разворачивающимся в поэме. В поэме нет и малейшего намека на то, что сами по себе природные явления могут стать источником

Попытаемся более конкретно разъяснить предлагаемые соображения. Поскольку, как это легко заметить при сколько-нибудь внимательном чтении «Витязя в тигровой шкуре», природа, согласно Руставели, не имеет устойчивой закономерности, жизнь человека в ней также не имеет устойчивой опоры, подвержена таким же случайностям и «коловоращению», как и явления природы. Взятая, сама по себе, природа совершенно индифферентна, с нею вообще не соотносимы понятия добра и зла, и лишь как арена человеческой деятельности она может быть источником зла. Будучи сферой случайности и изменчивости, природа не может быть надежной опорой для человека, и именно на эту ненадежность раздается в поэме жалоба не только персонажей, но и самого автора (см. строфу 940). В поэме не раз подчеркивается, что нельзя безотчетно «доверяться» природе (см. строфу 340), чтобы избежать несчастий, но ни единая строка не дает основания считать, что, согласно Руставели, человек должен избегать пользования благами природы, которые сами по себе не только не запретны, но, напротив, составляют неотъемлемый элемент человеческого счастья; только пользоваться ими следует разумно. Таким образом, противопоставление бога природе у Руставели носит совершенно иной характер, чем у представителей церковно-христианской теологии. По нашему мнению, проникновение в глубинный идейный строй «Витязя в тигровой шкуре» убеждает в том, что, по Руставели, природа не является творением бога ни в библейском, ни в неоплатоническом смысле. В принципе «вмешательство» бога в явления природы аналогично вмешательству человека в окружающую природу — это лишь изменение формы существования вещей и явлений, — но, разумеется, мощь бога бесконечно выше, причем и бог может изменять форму существования природных вещей и явлений, пользуясь их собственными природными свойствами, которые сохраняются при всей изменчивости и стихийности природы. Это дуалистическое миропонимание наиболее выпукло проявляется в руставелевском понижении сущности человека как конкретного существа. Хотя душа и тело человека составляют неразрывное единство, пока первая не отделилась от второго, они принципиально отличаются друг от друга — душа проста, неразложима и бессмертна, тело же сложно и разложимо, и в этом смысле смертно. Хотя душа по своей сущности выше тела, она не в состоянии не только «отменить», но даже изменить свойства тела, она может лишь разумно регулировать эти свойства в соответствии с определяемыми богом принципами или нормами человеческого бытия. Это регулирование необходимо, так как потребности души и тела не только едины, но и противоположны, причем эта противоположность относится не к физическим потребностям, удовлетворение которых необходимо и для души, а к сердечно-эмоциональным. Именно в этом смысле раздается в поэме жалоба на то, что сердце человека имеет «проклятый характер», оно «слепое» и не способно «измерить» что-либо (строфа 708). При этом «слепые» потребности сердца настолько сильны, что они могут совлечь с правильного пути и разум¹². Поэтому не все люди могут совладать с ними, на это способны только те, которые овладевают мудростью (см. строфу 340). Только в этом смысле можно понять совет Автандила Тариелу: делай то, чего не хочешь (строфа 869). Беда случается с человеком оттого, что он безотчетно отдается влечениям сердца, и один из важнейших признаков мудрости состоит в том, чтобы различать разумные и неразумные влечения¹³.

зла и несчастий. То же самое можно сказать и о пользовании человеком природными благами. Самое большое зло — исчезновение Нестандарджан, — в борьбе против которого объединяются все главные персонажи поэмы, абсолютно ничем не связано с пользованием человеком природными благами, но оно также не связано со злой волей отдельных людей. Его породило «сацутро» — традиционно установившиеся отношения людей между собой и к природе, а именно стремление царя Парсадана расширить свои владения. Это стремление нельзя вменять Парсадану в его «персональную» вину, так как оно было в обычае всех властителей в истории человечества, но именно оно «ослепило» Парсадана в отношении взаимной любви Тариела и Нестандарджан, о которой ему было известно (см. строфу 566).

¹² Именно в этом смысле говорится в поэме, что сердце, сознание и разум зависят друг от друга (строфа 837). Некоторые склонны видеть в этих словах гносеологический принцип диалектического единства чувственного и рационального познания, но их контекст не дает для этого основания.

¹³ Но это не значит, что мудрость состоит в отказе от чувственно-материальных наслаждений. Руставели первый в истории человеческой мысли преодолел как созерцательное, так и аскетическое понимание мудрости, и, как увидим ниже, это имеет решающее значение в руставелевской концепции predeterminedности человеческой судьбы богом. До чего же мудры, например, Ростеван и Автандил, но ни одному из них и в голову не приходит мысль о воздержании от пользования благами природы.



Из всего сказанного следует, что бог и природа у Руставели — два противоположных друг другу начала, они не имманентны, но и не трансцендентны в отношении друг к другу. В принципе их взаимоотношение аналогично взаимоотношению человеческой души и тела — они взаимосвязаны и взаимодействуют в известных пределах, но сущность их остается различной. В природе присутствует стихийное начало, в боге — закономерное. Хотя бог представляет собой высшее начало, а природа — низшее, но в своем бытии вторая независима от первого. Бог как чисто духовная сущность сверхприроден, но не в том смысле, что он существует над природой, точнее, вне природы, а именно в смысле своей идеальности, неизменности и неразрушимости.

Во всем том, что сказано выше, легко усмотреть как родство, так и различие руставелевской и церковно-христианской концепций. Их роднит понимание бога как чисто духовного начала, признание человеческой души частичкой бога, которая на время соединяется с природными стихиями (рождение человека), а потом снова отделяется от них (смерть человека). Различие же состоит в том, что если, согласно церковно-христианскому мировоззрению, бог творит природу из ничего, то у Руставели природа несотворима и неуничтожаема, представляя собой самодовлеющую сферу бытия, если, согласно церковно-христианской теологии, природа является источником зла и поэтому человек должен воздерживаться от пользования благами природы и всячески стараться умерщвлять свою плоть, чтобы заслужить благорасположение бога, то, по Руставели, природа сама по себе вообще не соотносима с понятиями добра и зла, которые относятся только к сфере человеческого бытия в его отношении к богу. Она — просто объективное условие человеческого существования, и от человеческого отношения к ней зависит, приносит ли она добро или зло. Хотя духовное наслаждение человека выше чувственно-материального (точно так же, как и духовное страдание тяжелее), человеческое счастье невозможно без этого последнего; в отличие от церковно-христианского учения, Руставели отвергает всякую мистику в отношениях между богом и человеком — бог открывает человеку через его разум в виде вполне рациональных высших принципов человеческого бытия и отношений¹⁴.

Мы подошли сейчас к одному из самых трудных вопросов — к вопросу о форме бытия бога. Если судить об этом по форме обращения персонажей поэ-

Мудрость состоит в различении разумных и неразумных чувственных влечений. Из этого следует, что, согласно Руставели, человек наделен богом определенной свободой воли, именно свободой выбора своих действий, и это определяет его моральную ответственность перед богом и людьми. Но в отличие от церковно-христианской идеологии, также вынужденной признать свободу воли человека для оправдания его ответственности перед богом за свои грехи, концепция Руставели подразумевает ответственность человека не перед богом, а за свою судьбу и судьбу других людей.

¹⁴ Нам кажется, что только этим можно объяснить ту поразительную в условиях средневековья черту мировоззрения Руставели, что ему чужды всякого рода суеверия, чудеса и т. п., тогда как эти элементы мы находим не только у поэтов средневековья, но даже эпохи Ренессанса (например, в «Освобожденном Иерусалиме» Тассо Годфрей отправляется в поход против сарацинов по непосредственному внушению бога, приславшего ему через ангела специальное послание. См. *Quattrocento italiani*, Parigi, 1845, p.626). В великом творении Руставели мы не встречаем ни волхвства и колдовства, ни дурных или добрых предзнаменований (единственный раз слово «предзнаменование» упоминается при обнаружении Тариелом и Автандилом в складе дэвов трех комплектов военного снаряжения высшего качества, но даже при предвзятом мнении нельзя понимать здесь это слово в смысле религиозного суеверия), ни чудес или иных сверхъестественных явлений. Здесь мы предвидим возражение: разве «грднеули» Фатьман, обладающий сверхъестественной скоростью, невидимостью и способностью проникать сквозь все преграды, не относятся к числу сверхъестественных явлений? Разумеется, обыкновенные люди не обладают подобными свойствами, но от внимательного читателя не может ускользнуть тот факт, что тут использован не специфический религиозно-суеверный, а фольклорно-сказочный мотив, причем подобный прием диктовался Руставели необходимостью соблюдения своих собственных важнейших поэтических принципов: сжатости, композиционной стройности и нарастания динамичности в разворачивании событий. Если бы сам Автандил отправился в Каджети за сведениями о Нестандареджан, пришлось бы вставить в поэму целый эпизод, который, ничем не обогащая поэму, лишь в сильной степени замедлил бы динамику хода событий. Еще хуже было бы отправление какого-либо обыкновенного «курьера», ибо, во-первых, и тогда оставалась бы необходимость включения нового эпизода, причем еще менее интересного, а во-вторых, пришлось бы как-нибудь «занять» Автандила в Гуланшаро до возвращения курьера, то есть внести в поэму совершенно ничемный элемент. Ко всему этому нужно добавить еще одно весьма важное обстоятельство:

мы к богу, то он выступает как персонифицированное существо с некоторыми антропоморфными чертами. Можно определенно сказать, что представление персонажей поэмы о боге не отличается в чем-либо существенном от церковно-христианского, включая даже внутреннюю противоречивость этого последнего. Например, Автандил обращается к богу то как к источнику добра, то как к источнику страданий (см. строфу 799). Даже в словах самого Руставели, относящихся к богу, можно усмотреть некоторый элемент волеия (строфы 940, 1036). Как будто напрашивается вывод, что богу Руставели присущ человекоподобный образ бытия. Но анализ всего идейного строя поэмы, по нашему мнению, не подтверждает такого вывода. Во-первых, понятия расположения или нерасположения, осуждения на смерть или спасения, которыми оперируют персонажи поэмы, а в некоторых случаях и сам автор, по отношению к богу можно отнести и к персонифицированной силе. Во-вторых, по общему смыслу поэмы персонификация предполагает соединение духовной сущности с природными элементами, а бог мыслится как чисто духовное начало¹⁵. Нам кажется не лишним основания предположение, что понятие бога у Руставели скорее философско-космологическое, нежели религиозно-теологическое. Мы видим здесь весьма серьезное возражение: почему же в таком случае бог проявляется у Руставели заинтересованность в человеческой судьбе? Ведь в качестве космологического начала он должен бы быть индифферентным к различию форм бытия, в первую очередь в этическом аспекте: он должен стоять «по ту сторону добра и зла». А между тем, бог у Руставели занят главным образом судьбами людей и выступает как источник добра. Попытаемся отвести это возражение.

Как известно, человек конструирует понятие бога на основе представлений о свойствах своей собственной души. Поэтому все виды первобытных религий, включая и древнегреческую мифологию, антропоморфны. Со времени принципиального противопоставления духовного (идеального) и материального начал появляются новые представления о боге, свободные от явных признаков антропоморфизма и конструируемые по тем или иным философским идеям. Согласно Платону, например, бог представляет собою единую высшую идею, включающую в себя все идеи, «тенью» которых являются все природные вещи и явления. Но у Платона все еще не видно полного преодоления мифологии, по существу и понятие бога в какой-то степени окутано у него мифологическим туманом; но важно, что к самому понятию идеи он восходит логическим путем. Аристотель использовал эту сторону платоновского учения и уже чисто логическим путем идет к понятию бога как «чистой формы», то есть чистой, неподвижной идеи, «неподвижного двигателя», от которого исходят все виды движения, все формы активности в «эмпирическом мире». По существу таким же логическим путем восходит и Руставели к понятию бога: исходя из наличия добра в мире в виде атрибута человеческой души и считая невозможным вывести его из свойств чувственно-материальных вещей и явлений, которые изменчивы и преходящи, Руставели ищет источник добра в высшем духовном начале. Образ существования бога нельзя представить в мысли и выразить словом — человеческому сознанию доступны только действия бога. Но и это дается не само собой, а только через учение и развитие мысли, то есть посредством мудрости. Из внимательного анализа всего идейного содержания поэмы Руставели вытекает, по нашему мнению, такой вывод: сущность бога чисто этическая — это абсолютное единство высших нравственных принципов, возведенных в космологическую форму бытия. Опираясь на этическое ядро раннего христианства, не искаженного и не выхолощенного в своем возвышенном нравственном содержании «отцами церкви» и последующей церковно-христианской теологией, Руставели возводит его в совершенно оригинальное мировоззрение, подразумевающее веру человека в бога вне всяких традиционных религиозных догматов и культовых обрядов.

как известно, Тариел и Автандил условились, что последний вернется через год, и нарушение этого срока было чревато трагическим последствием — Автандил мог не застать Тариела в живых, а это означало бы нарушение всего идейно-художественного замысла поэмы. Известно, что специфически религиозная форма суеверия связана либо со сверхъестественными духовными существами — ангелами или дьяволами, либо же с мистико-символическими знаменами, которых нет и в помине в «Вепхискаосани», тогда как даже в эпоху Ренессанса один из крупнейших его представителей — Пико делла Мирандола почти во всех явлениях природы искал какой-либо мистический символ (см. Walter Pater, *The Renaissance*, N. Y. Modern Librari, p. 37).

¹⁵ Кстати, заметим, что церковно-христианская теология по существу обходила этот неприятный для нее вопрос. Представляя бога в персонифицированном образе как высший прототип своего подобия — человеческого образа, она должна была бы допустить и телесное воплощение бога, но это разрушило бы всю основу церковно-христианской теологии.

Общение человека с богом осуществляется непосредственно, через собственное сознание, которое для этого нуждается лишь в овладении мудростью, а не в «умерщвлении плоти» и в достижении «экстатического» состояния, при котором должны исчезнуть чувства и мысли, связывающие человека со «здесь и сейчас».

Этическое понимание высшего, божественного начала имело место в творчестве Рии мысли и до Руставели. В наиболее выпуклой форме выразили его Эмпедокл и Сократ. Этический оттенок имеет и анаксагорьевский «нус» — нечто вроде безличного мирового разума. В данном случае неважно, воспринял ли Руставели эту идею у античных греческих мыслителей или она явилась плодом его собственных размышлений — мы склоняемся к этой последней версии, хотя Руставели как образованнейший человек своей эпохи мог быть непосредственно знаком с учением античных греческих мыслителей. Но и в случае допущения заимствования речь может идти лишь о наиболее общем принципе — в своем конкретном содержании концепция Руставели настолько своеобразна, что при всех случаях есть все основания говорить об ее оригинальности. Руставели создал совершенно новое понятие бога без специфического религиозного аспекта.

Нам кажется, что наши выводы найдут определенное подкрепление при рассмотрении руставелевского понимания божественной определенности человеческой судьбы. На первый взгляд легко может показаться, что Руставели — фаталист. Нет нужды перечислять множество мест в «Витязе в тигровой шкуре», где не только персонажами, но и самим автором подчеркивается, что без божьего предопределения ничего не случается в человеческой жизни. Сам этот факт с несомненностью свидетельствует о том, что в этом вопросе Руставели твердо стоит на почве средневекового мировоззрения. Тем не менее именно в этом вопросе находим мы наиболее коренное отличие учения Руставели от средневекового. Церковно-христианская теология хотя и значительно смягчила древнегреческое понимание судьбы (мойры) тем, что с ее точки зрения бога можно «умилостивить» молитвами, жертвоприношениями, постами и тому подобным, но ровно ничего не изменила в абсолютном характере самого предопределения богом человеческой судьбы, причем молитвы, жертвоприношения, посты и подобные им церковные обряды имели главной своей целью «спасение души» для потустороннего мира, а не судьбу человека в «этом мире». Вникнув в идейную сущность поэмы Руставели, легко понять, что судьба человека определяется, но не абсолютно предопределяется богом. Наиболее важные в идейном отношении эпизоды поэмы — встречи и диалоги Тариела и Автандила — не оставляют сомнения в том, что тот или иной исход человеческой судьбы, определяемой богом, зависит от разумности или неразумности самого человеческого действия. Именно в этом свете обнаруживается вся важность и оригинальность руставелевского понимания мудрости как активного действия на основе постижения разумом «высшего строя» — в этом и состоит главная суть преподанного Автандилом Тариелу «урока»; сам Тариел признает, что «этот урок стоит для него целого мира» (строфа 894). В понимании мудрости Руставели не только оригинален для своей эпохи (как известно, до него мудрость понималась, как чистое созерцание и полное самоотстранение от всего «мирского»), но и на много веков опередил свою эпоху. Бог определяет судьбу человека и ему же предоставляет осуществление своего определения — никаких других сил в виде добрых ангелов или злых демонов и тому подобного не существует. Отсюда и знаменитое положение Руставели: судьба — это действие, угодное богу (строфа 893). При этом важно иметь в виду, что божественное определение судьбы всегда носит добрый характер и, лишь нарушая эти определения, человек попадает в беду.

Разумеется, в своем воззрении на божественное предопределение человеческой судьбы Руставели не мог полностью оторваться от средневековой почвы; он остается на этой почве в одном весьма важном пункте: смерть человека предопределена богом абсолютно и никакие действия, никакой разум не могут отменить ее, изменить срок ее наступления. Но решающую роль в человеческой судьбе играет не смерть, а содержание жизни: проходит ли она в страданиях или наслаждениях. В вопросе о понимании смерти взгляд Руставели отличается как от церковно-христианского взгляда как на «избавление человеческой души», так и от трагического ее понимания: поскольку она необходима и неотвратима, несмотря ни на какие старания человека, надо заниматься не ею, а счастливым устройством жизни. В поэме Руставели нельзя найти ни страха смерти, ни церковно-христианской «любви» к ней как к освобождению души из телесной «темницы»¹⁶. Самая важная черта руставелевского понимания судьбы, коренным об-

¹⁶ Могут возразить: разве Тариел не желает добровольно отдаться смерти (строфа 871) и Нестандареджан не говорит о «сладкой смерти» (строфа 1295)? Но ни то, ни другое ничего общего не имеют с церковно-христианским мотивом: оба они призывают смерть потому, что друг без друга жизнь для них стала невыносимой.

разом отличающая его от церковно-христианского, состоит в том, что ее содержанием является земная жизнь человека, а не посмертное существование души.

Изложенное выше понимание предопределения человеческой судьбы органически вытекает из руставелевского понимания отношения бога к природе, чем уже говорилось выше. Возможность отклонения человеческой судьбы от божественного предопределения обусловлена тем, что своим телом человек связан с природой, а природные потребности, включающие в себя и влечения сердца, не входят в сферу божественных предначертаний, и само человеческое сознание должно соразмерять первые с последними. Таким образом, божественные предначертания — это нечто вроде «программы» человеческих действий; осуществляет ее не сам бог, а человек.

Не подлежит никакому сомнению, что бог Руставели — это «проекция» его собственных возвышенных этических принципов. Как великий певец человеческой любви и человеческого счастья, он освобождает бога от тех церковно-библейских черт, которые делают его действительным подобием человека с его эгоизмом, властолюбием, жестокостью и так далее. Согласно Руставели, бог не может быть подобием человека хотя бы потому, что он не соединен со стихиями природы; сам же человек лишь частично подобен богу — своей душой, являющейся частицей самого бога. Соединение души со стихиями природы свойственно только человеческой форме бытия, и поэтому человек занимает в мире исключительное место. После отделения души от тела человеческое бытие прекращается. Упования Тарнела и Нестандареджан на соединение друг с другом после смерти — обычный взгляд даже передовых людей той эпохи, и поэтому вполне естественно, что Руставели наделяет их подобным взглядом; но он никоим образом не вытекает из общего идейного строя «Витязя в тигровой шкуре». В какой форме существует душа после своего отделения от природных стихий, неизвестно, — общая концепция Руставели позволяет предполагать, что она вновь сливается с богом, то есть прекращает индивидуализированное существование. Проблема счастья или несчастья относится к человеческой форме бытия души, то есть ее существования в соединении со стихиями природы, поэтому удовлетворение телесных потребностей так же необходимо, как и духовных, оно также составляет элемент счастья. Но при этом важно иметь в виду, что духовное начало в человеке выше, чем физическое, и этим определяется руставелевское понимание любви как высшего принципа человеческой жизни, который должен регулировать отношения между людьми, начиная с семьи и кончая международными отношениями. Этим же определяется и подчинение физического начала духовному в любви между представителями различного пола — лишь Данте и, может быть, Вольфрам фон Эшенбах воспевали в средневековье столь возвышенную любовь между мужчиной и женщиной, но в отличие от Данте, предельно идеализирующего эту любовь, Руставели признает важное значение и ее природного элемента. Руставели радикально различает между собой подлинную любовь, подразумевающую не только природное влечение друг к другу, но и глубокое нравственно-духовное родство, и «слепую» любовь, основанную на голой страсти и выражающуюся в «бездушных объятиях и поцелуях». Именно на возвышенной любви может основываться дружба — другой великий нравственный принцип, красной нитью проходящий через все идейное содержание «Витязя в тигровой шкуре».

Изложенное выше руставелевское понимание бога и природы обусловливает собой оптимистическое, жизнеутверждающее мироощущение, которым проникнута его бессмертная поэма. Мрачному библейско-церковному представлению о чувственно-материальном мире как «юдоли печали и слез» Руставели противопоставляет светлое и ободряющее представление о нем как о единственной арене человеческого бытия, обеспечивающей человеку подлинное счастье.

Таким образом, в целом не отрываясь от почвы средневековья, Руставели удивительным образом поднимается над особенно мрачными сторонами господствовавшего в его эпоху церковно-библейского мировоззрения, преодолевая все виды суеверия и ханжества, все культовые обряды, и возвышает человека, изображаемого церковно-средневековым мракобесием как «червь», как «падшее, греховное существо», до действительно нравственно-духовного подобия богу. В несравненных художественно-эстетических образах Руставели проповедует такие возвышенные нравственные принципы, которые не только на многие века опережают его эпоху, но в своем наиболее общем содержании могут служить неувядаемыми идеалами человеческого совершенства.

ЗАХАРИЙ ПАЛИАШВИЛИ

К 100-летию со дня рождения

Захарий Палиашвили принадлежит к той малочисленной группе художников, которым в своих великих творениях удалось выявить национальный гений своего народа. Только случайностью можно объяснить тот странный и несправедливый факт, что оперы Палиашвили до сих пор еще не стали достоянием мирового оперного искусства. И думается, не будет чрезмерным преувеличением, если скажем, что «Даси» и в особенности «Абесалому и Этери» по праву принадлежит место в ряду шедевров оперного искусства. Подобно еще не открытым, но уже подразумеваемым элементам в таблице Менделеева, оперы Палиашвили со временем займут отведенное им историей место в мировом оперном искусстве.

Говоря о шедеврах оперного искусства и конкретно о некоторых бессмертных произведениях Моцарта, Вагнера, Верди, Пуччини, Бизе, Чайковского и некоторых других композиторов, не следует забывать, что эти оперные произведения не являлись по мановению волшебной палочки, что для их создания оперное искусство отдельных стран прошло сложный путь развития. Чтобы появиться операм «Отелло», «Аида», «Тоска», «Богема», «Дон Жуан», «Тангейзер», «Кармен», оперному искусству Италии, Франции, Германии пришлось пройти довольно большой путь, и было написано много опер, которые ныне отсутствуют в оперном репертуаре — теперь они представляют интерес только для истории музыки. Со времени создания музыкальной драмы Монтеверди до оперы Верди «Отелло» прошло почти три столетия! Надо сказать, что с развитием оперного искусства в этих странах развивалась и общая профессиональная музыкальная культура, что в свою очередь способствовало будущему развитию оперного искусства.

Факт этот, конечно, ни в коей мере не умаляет достоинства и значения перечисленных выше опер и заслуг их гениальных создателей перед общечеловеческой культурой. Это вполне естественный, закономерный путь искусства.

И оперы Захария Палиашвили возникли не по мановению волшебной палочки — в основу их лег прочный фун-

дамент, и фундаментом этим является великая национальная культура грузинского народа, но не национальное оперное искусство или же отдельные ступени развития общенациональной профессиональной музыки. Истоки свои грузинская профессиональная музыка берет в творчестве Захария Палиашвили.

З. Палиашвили пешком прошел горы и доли Грузии, побывал во всех уголках, посетил расположенные в самых неприступных горах села, где, по его мнению, хранились наиболее ценные произведения народного творчества. И совершенно не случайно дружба Захария Палиашвили с Иванэ Джавахишвили, который помогал композитору в нахождении и выявлении этих произведений. К сожалению, пока еще полностью не изучены жизнь и творчество грузинского композитора. Те несколько работ, и в первую очередь великолепная монография Ладо Донадзе, — скорее научные труды, в основном они знакомят с творчеством композитора, а его жизнь, которая с первого взгляда может показаться непоэтичной, но с которой не только интересно, но и полезно будет познакомиться молодежи, пока еще почти не изучена.

Когдамотришь на фотоснимки Захария Палиашвили или познакомишься с его записями или отдельными эпизодами из его биографии, то может показаться, что человек этот, создавший великие поэтические творения, прожил весьма непоэтичную жизнь. К сожалению, это ложное и поверхностное впечатление создают те несколько известных нашей общественности фильмов и литературных очерков, которые, конечно, не могут быть сочтены удачными.

Может быть, у современного скептически настроенного человека и вызовет улыбку представление о том, как, проливая пот, ходит из села в село, из деревни в деревню молодой человек с сумкой через плечо и терпеливо записывает произведения грузинского музыкального фольклора...

Путешествие это длилось годами, а может быть, и десятилетиями...

Жизнь Захария Палиашвили должна служить примером подражания для молодых художников. Даже большой та-

лант не был достаточен для создания бессмертных опер — необходим был нечеловеческий труд и усердие, естественно, в неразрывной связи с великой любовью к музыке.

Был период, когда дошедший до Грузии в искаженном виде иностранный музыкальный фольклор стал представлять серьезную угрозу грузинской народной музыке. Нельзя без волнения читать маленькие газетные информации или письма Захария Палиашвили, написанные на эту тревожную для него тему.

Должно быть, немалое значение имеет тот факт, что древние грузинские героические гимны композитор слушал в горах Сванетии, различал их в мелодиях рачинских местири; именно в Раче он слушал неповторимые восклицания из огненого «Хасантегури», а в Алазанской долине — спокойные и печальные кахетинские песни... Факт этот значителен не только тем, что композитор все это слышал из первоисточника, без каких-либо искажений, но и тем, что в его сознании вместе с музыкальным звучанием возникали и формировались музыкально-литературные образы. И когда со сцены звучат мотивы Палиашвили, когда смотришь на его героев, именно такими оживают в сознании эти музыкально-литературные образы, оживают не как некий этнографический комплекс, а как единый грузинский дух — несгибаемый, высокий, гуманный и поразительно поэтический.

Подобно тому как в сказке оживляют заснувшую вечным сном красавицу, так и Захарий Палиашвили, вдохнув бессмертный дух своего таланта в печальную историю любви грузинской девушки и юноши, дал ей новую и долгую жизнь. На протяжении целых семи или восьми веков народ из уст в уста передавал эту волнующую поэму о чистой любви. В поэме зазвучали божественные звуки, и то, что было и могло принадлежать только одному народу, композитор превратил в гимн человеческой любви и преданности, сделал достоянием всего человечества.

Когда в операх З. Палиашвили поет хор, то у некоторых слушателей возникает желание сравнить его и, должно быть, невольно, связать с хором античного театра. Это, очевидно, получается по инерции и является отголоском того нежелательного явления, когда все хорошее связывалось с иностранным влиянием и должно было возвышать и облагораживать свое, отечественное. А в действительности и эти палиашвилевские хоры, так же как все его музыкальные образы, все мелодии и фразы, истинно грузинские, самобытные.

В операх З. Палиашвили хор не музыкальный фон, на котором разворачивается действие, хор сам является од-

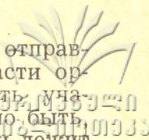
ним из главных персонажей произведения — выразителем справедливой, единой, активной борьбы против зла.

Палиашвилевский хор захватывает и изумляет не только неповторимым музыкальным звучанием, но и своими особыми социальными интонациями.

Твердость и непоколебимость духа грузинского народа достойна того, чтобы он правдиво был отображен в искусстве и литературе. И здесь Захарию Палиашвили не изменяет художественный вкус. Во всех своих трех операх он рисует героическую, патриотическую природу нашего народа, его чистоту, справедливость, непримиримость к злу и несправедливости, борьбу за утверждение добра. Но как и подобает истинному большому художнику, Палиашвили не привносит сюда излишних акцентов, и потому над произведением не нависает страшная угроза схематичности и потери силы эмоционального воздействия.

В его операх именно хор придает особое героическое звучание беззаветной борьбе против сил зла. А та социальная заостренность, о которой речь была выше, создается не только в результате сюжетного развития, ее создает и сама музыкальная интонация. Мы не будем останавливаться на «Даиси» и «Латавре», где героический подвиг и могучее патриотическое движение народа выявляет сам сюжет опер, что облегчает задачу музыкального озвучивания. В третьем действии «Абесаломы и Этери» зло временно побеждает добро. Влюбленный в крестьянскую девушку-сиротку царевич вынужден отказаться от своей невесты. Это диктует государственный долг, этого требует сама женщина, к этому призывают родители, к этому же призывает и народ. За печальным монологом царевича следует хор, равному которому по монументальности, поразительной мелодичности и силе эмоционального воздействия вряд ли можно найти в мировом оперном искусстве. Это — душераздирающий вопль, бесконечный стон народа, который понял силу зла, побежден, но не стал рабом. Это — горький протест против торжества зла физически сломленного, но не покорившегося народа. Тут Палиашвили удалось отобразить в музыке характер грузинского народа, который на протяжении веков страдал, но не был покорен. Конечная победа не на стороне зла. В финале народ уже не стонет и не причитает, а возносит печальное песнопение, и тут звучание хора можно сравнить только с неповторимой «Аве Мария».

Необходимо отметить один поразительный и, может быть, самый значительный факт в творчестве Палиашвили. Его оперы глубоко народны, и в этом их сила и величие. Когда мы слушаем его



оперы, мы слышим грузинские мотивы, но ни одна фраза этих мотивов не заимствована, не перенята полностью, не вымучена, как это разрешают себе делать некоторые композиторы, дабы сохранить привлекательную мелодичность песни, а схожесть с оригиналом — уничтожить. Нет, это когда-то услышанные, проведенные сквозь душу и сердце композитора мотивы, в которые вложены труд и романтика, — они плоть от плоти, кровь от крови палиашвилиевские. Они и похожи, и не похожи на первоисточники. И потому-то мы подсознательно чувствуем народность этих мотивов, и если только не специально, с научной точки зрения слушать и изучать их, то вовсе не возникнет желание связать их с какой-либо народной мелодией.

Идеальное слияние народного и классического является плодом совершенного вкуса и гениальности. Здесь Палиашвили проявлял поразительный такт и тонкое чувство меры. Подобное слияние желательно не только в музыке, но и во всех областях и жанрах литературы и искусства.

Когда мы говорим о почве, на которой возникло творчество З. Палиашвили, помимо грузинской музыкальной культуры обязательно надо учитывать и большую музыкальную эрудицию композитора.

Композитор рос окруженный звуками органной музыки, и божественные звуки творений Баха и Генделя он воспринимал всем своим существом. И это чувствуется во всем творчестве композитора. Когда слушаешь его оперы, то в какое-то мгновение улавливаешь мелодии Баха, которые моментально растворяются и исчезают в грузинских, палиашвилиевских мотивах. Такое ощущение возникает не от сходства каких-то частей музыкальной фразы, оно вызвано общей музыкальной эрудицией и культурой композитора.

Кажется, об операх Пуччини пишут, якобы, оркестр в них возводит музыку в степень самостоятельного симфонического произведения. Не знаю, можно ли подобное сказать об операх З. Палиашвили, но и в них оркестр исполняет значительно большие функции, чем обыкновенный оперный аккомпанемент. Мы имеем в виду не только увертюру к «Даиси», которая может быть сочтена за самостоятельное симфоническое произведение и исполняется на симфонических концертах, не только сюиты, которые занимают особое место в «Абесаломе и Этери» и «Латавре», а общее звучание оркестра. Немыслимо спокойно выслушать и забыть ту часть оперы,

где посланная Абесаломом мать отправляется звать Этери. В этой части оркестр как будто пытается передать уязвленное дыхание царевича. Должно быть, в основе этой великолепной части лежит народная мелодия мествири. Титанический талант композитора возвел простую песню мествири в высокую степень романтического звучания и наделил ее большой эмоциональной силой.

Или возьмем известное вступление к женскому хору (в сцене возле той же башни), исполняемое оркестром. Иногда оркестр, кажется, вмешивается в диалоги героев и доводит ситуацию до высшего напряжения. Вспомним оркестр в конце второго действия в опере «Даиси», перед большим хором...

Описание творчества З. Палиашвили было бы однобоким, если бы мы ограничились упоминанием только его опер. Захарию Палиашвили и его знаменитой семье принадлежит величайшая заслуга в деле развития грузинской музыкальной культуры. Не говоря уже о том, что все представители прославленной грузинской вокальной школы воспитаны на операх Захария Палиашвили, сегодня трудно представить, что было бы с нашей, тогда еще молодой, консерваторией, если бы не семья Палиашвили! Члены этой семьи трудились в опере, не щадя сил работали в консерватории, не чурались незавидной и нетворческой работы в общеобразовательной школе. Я не могу без радостного чувства благодарности вспомнить те незабываемые минуты, когда один из братьев великого композитора в холодном спортивном зале общеобразовательной школы города, запахнув на себе зимнее пальто, подняв меховой воротник, садился за рояль и мы, дети с еще не установившимися голосами, пели мелодии из произведений Захария Палиашвили.

Большая и славная семья Палиашвили дала основу для дальнейшего развития новой грузинской музыки. Она и своим творчеством, и практической работой открыла широкое поле деятельности перед тем талантливым поколением наших молодых композиторов, которые — а это надо сказать в интересах справедливости — славно защищают достоинство и престиж грузинской национальной музыки.

Если попытаться путем сравнения с другими великими национальными деятелями определить значение и масштаб творческой деятельности Захария Палиашвили (что, может быть, несколько и неудобно делать), то он по праву стоит рядом со своими славными предками — Важа Пшавела, Ильей Чавчавадзе и Акакием Церетели.



Павле ИНГОРОКВА

ШОТА РУСТАВЕЛИ (1166—1250)

VI

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПОЭТА

Первый период (1166—1196 гг.)

СЕМЕЙНАЯ СРЕДА, ГОДЫ ОТРОЧЕСТВА И МОЛОДОСТИ

Шота Руставели родился в середине 1160 годов, около 1166 года. Это устанавливается синхронизмами ряда исторических источников, о которых речь была выше. Эта дата найдет подтверждение и в дальнейшем исследовании.

Шота Руставели, как установлено, был сыном эретского эристава Григола III и внуком эретского эристава Асата II, которые играли большую роль в государственной жизни Грузии в первой половине царствования Тамар.

Шота Руставели, по-видимому, был старшим сыном Григола III, поскольку Эретское эриставство впоследствии перешло к нему. У Григола, кроме Шота, был и второй сын Тбели — известный военный деятель XII—XIII веков. Тбели как прославленного полководца упоминает историк первой четверти XIII века Басилий.

Сведения о детских и отроческих годах Шота Руставели не сохранились. Впервые мы его встречаем при дворе царицы Тамар в первый период ее царствования, в начале 90-х годов XII века.

Не сохранилось прямых свидетельств и о том, где и какое образование было получено поэтом. Но как представитель высшей аристократии Руставели должен был получить и получил широкое и многостороннее образование. Шота Руставели, вождь грузинского гуманизма, мыслитель, философ, был просвещеннейшим человеком эпохи.

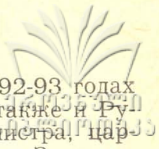
Следует вообще отметить, что весь семейный круг Шота Руставели принадлежал к высшей интеллектуальной элите. Дочь Тбели, племянница поэта, Борена была поэтессой. Сохранившееся одно стихотворение Борены, в чем-то созвучное поэзии Руставели, отмечено высокой поэтической культурой.

Следует также упомянуть об одном памятнике из семьи брата Шота Руставели — Тбели; это икона великомученика Георгия, подлинный шедевр грузинского классического искусства XII—XIII веков.

Великомученик Георгий считался покровителем Грузии. На оборотной стороне иконы вычеканена обширная надпись Тбели, в которой повествуется, что икона покровителя Грузии была создана как мемориал, в ознаменование многих побед над врагами страны. Эта надпись, блистательная по своей литературной форме, свидетельствует, что Тбели, этот прославленный полководец, был просвещенным, утонченно образованным человеком.

* * *

Древнейшие дошедшие до нас сведения о сыновьях-наследниках Григола III Шота и Тбели относятся к первому периоду царствования Тамар, к 1191 году. В первой истории Тамар — «Деяния венценосцев» (написанной в 1196 году) — говорится, что при царском дворе царицей Тамар были приняты представители владетельных фамилий, сыновья и наследники высших государственных деятелей, которые получили «благословение» на управление ленными владениями; некоторым из них впервые были переданы лены, некоторым же были прибавлены новые лены. Среди них упоминаются эретские Багратионы, «сыновья Григола». Согласно этому свидетельству, наследники Григола Шота и Тбели были утверждены правителями своих ленов в 1191 году.



Мы уже отмечали, что примерно в эти же годы, а именно в 1192-93 годах дед Шота Руставели эретский эристав Асат II получил во владения также и Руставскую область и одновременно был утвержден на должность министра царского вазира мечурчлет-ухуцеси. К этому времени Асатом II собственно Эретское эриставство было передано сыну Григолу III, за собой же им была оставлена Руставская область вместе с должностью министра.

После этого Асат II, находившийся в преклонном возрасте, жил недолго — он скончался, как мы уже отмечали, в первой половине царствования Тамар, после 1192—1193 годов. После него на должность министра (вазира, мечурчлет-ухуцеси) был назначен его сын эретский эристав Григол III. Правителем же Руставской области стал Шота как старший наследник рода*.

Таким образом, Шота, прежде чем стать эретским эриставом (объединенно-го эриставства Эрети и Рустави), был сначала владельцем Рустави, то есть — **Руставели**.

Сохранился документ конца XII века, происходящий из Жинванской общины Руставской области, который удостоверен подписью Шота. Эта подпись подтверждает, что Шота в это время еще не был эриставом всея Эрети (он еще не носил эриставского титула), а был только владельцем Рустави — **Руставели**. Эретским эриставом он становится позже, уже в XIII веке. Он упоминается в качестве эретского эристава в первой половине XIII века в древнегрузинском историческом памятнике «Хронографии». В качестве эристава Эрети и министра (вазира мечурчлет-ухуцеси) представлен Шота, как мы уже знаем, на нерусалимской фреске.

Резиденцией Руставской области, владельцем которой стал Шота в 90-х годах XII века, был город Рустави, расположенный недалеко от столицы Грузии Тбилиси. Город Рустави, давший имя великому поэту, был известен, по источникам, еще с античной эпохи, а в царствование Тамар в XII—XIII вв. он считался одним из главных городов страны. Источники свидетельствуют и о том, что сама Тамар принимала участие в строительстве Рустави.

VII

РАННИЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ ТВОРЕНИЯ РУСТАВЕЛИ, НЕ ДОШЕДШИЕ ДО НАС

- а. Поэма об Иосифе Прекрасном.
- б. Первая поэма Руставели, посвященная Тамар.

Каким был творческий путь поэта? Когда начался этот путь? Мы этого не знаем. Однако мы знаем, что зенита поэтический гений Руставели достиг в эпоху Тамар.

При дворе Тамар представлена вся интеллектуальная элита страны, плеяда блестящих писателей, мыслителей. Здесь мы видим культурную среду новой эпохи. Ведь и сама Тамар была не только меценатом. Эта гениальная женщина являлась воистину центральной фигурой эпохи. Везде и во всем замечаем мы следы вдохновляющего влияния ее личности. К эпохе ее царствования относится и поэма Руставели, на создание которой она вдохновила великого поэта.

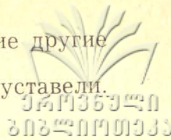
«Витязь в тигровой шкуре» — единственное дошедшее до нас творение Шота Руставели. Но было ли оно единственным в творчестве поэта? Как выясняется из источников — нет. Но если бы даже в нашем распоряжении не было никаких свидетельств и сведений о других сочинениях Руставели, анализ самого «Витязя в тигровой шкуре» неизбежно привел бы нас к этому предположению. «Витязь в тигровой шкуре» не мог быть первым произведением поэта хотя бы потому, что в нем автор выступает уже во всеоружии своего мастерства, законченным артистом, гений которого достиг вершины. «Витязь в тигровой шкуре» даже только одной своей формой является безупречным шедевром, и, разумеется, трудно допустить, что шедевр этому не предшествовали более ранние поэтические произведения.

И действительно, выявляется, что до «Витязя в тигровой шкуре» поэтом были опубликованы два произведения: 1. Поэма об Иосифе Прекрасном; 2. Первая, (не дошедшая до нас) поэма, посвященная Тамар.

* Нужно полагать, что Шота и при жизни престарелого деда Асата II был фактическим правителем области как наследник рода.

Оба этих ранних творения Руставели утрачены, так же как и многие другие образцы грузинской литературы классического периода.

Обратимся к свидетельствам об этих утраченных произведениях Руставели.



* * *

ПОЭМА ОБ ИОСИФЕ ПРЕКРАСНОМ

Сперва о сюжете.

Библейская легенда об Иосифе Прекрасном, как известно, пользовалась огромной популярностью в литературах средневековья. В различных христианских литературах сохранилась повесть-апокриф о любви Иосифа и Асанет. В этом апокрифе библейская поэтическая легенда развита и дополнена новыми романтическими деталями.

Особой популярностью пользовалась легенда об Иосифе Прекрасном в мусульманских странах. Так, например, в иранской литературе этот сюжет был впервые разработан в X—XI веках Абул-Муваидом Балхским, Бахтиаром Ахваским и величайшим поэтом Востока Фирдоуси. В XII веке этот же сюжет разрабатывает Хамак Бухарский. Иранские поэты и позднее возвращались к этой легенде, в их числе последний древнеиранский классик Джами. Всего известно 13 иранских поэм-романов об Иосифе Прекрасном.

В иранских и других мусульманских версиях роман об Иосифе Прекрасном известен под названием «Иосиф (Юсуф) и Зулейха» в отличие от заглавий христианских версий — «Иосиф и Асанет» (в мусульманских версиях было заменено имя героини).

Как выясняется, этот знаменитый романтический сюжет и обработал Шота Руставели. Сведения об этом произведении Руставели мы находим у одного грузинского поэта первой половины XVI века. Этому безымянному автору принадлежит новая разработка легенды об Иосифе. Поэма его дошла до нас в уникальном списке, переписанном в той же первой половине XVI века. Поэму эту предвворяет вступление, в котором автор дает библиографическую справку о ранее существовавшей древнегрузинской версии этой же легенды. Этот древний текст, «повесть ранняя», к тому времени, то есть в XVI веке, был дефектен, и от него сохранился лишь небольшой отрывок («мало что оставалось»). Автором этого древнего текста, по свидетельству поэта XVI века, был Руставели. Необходимость же нового воплощения легенды была вызвана утратой полного текста древнегрузинской версии, ставшей, по-видимому, жертвой национальной катастрофы в период монгольского ига. Поэт XVI века, решивший восстановить легенду в полном ее объеме, воспользовался мусульманской ее версией (а именно: версией Джами). Автор вместе с тем почтительно оговаривается во вступлении, что ему трудно было решиться на это дело, ибо ему приходится передать в стихах повесть, ранее разработанную таким великим мастером, как Руставели. И он обращается поэту к Руставели со смиренной просьбой дать ему «право повествования».

Таково чрезвычайно важное свидетельство автора XVI века об утраченной поэме Руставели об Иосифе Прекрасном, из которой к XVI веку сохранился отрывок.

Как была разработана легенда об Иосифе Прекрасном в руставелевской поэме — мы не знаем. Можем лишь предполагать, что Руставели пользовался преимущественно христианским, а не мусульманским вариантом легенды. Это подтверждается интереснейшим списком персонажей грузинских поэм и романов, которые приводятся в упомянутом нами не раз историческом сочинении XII века — «Деяния венценосцев» (1196 г.); в этом списке среди других названы и персонажи романа об Иосифе Прекрасном: **Иосиф** и **Асанет**. Совпадение дат дает все основания предполагать, что имеется в виду роман Шота Руставели. А раз героиня романа названа Асанет (а не Зулейхой), становится ясным, что автор исходил из христианского, а не из мусульманского первоисточника.

Очевидно и то, что поэма-роман об Иосифе Прекрасном была создана до «Витязя в тигровой шкуре». Дело в том, что в первой истории Тамар, где, как мы уже говорили, перечислены персонажи известных в то время произведений грузинской литературы, совершенно не упомянуты герои «Витязя в тигровой шкуре». Ясно, что поэма к этому времени не была известна. Поэма об Иосифе Прекрасном была опубликована, таким образом, до «Витязя в тигровой шкуре» и была, как видим, популярна уже в первое десятилетие царствования Тамар.

Вот пока все, что мы можем сказать об этом утраченном произведении Шота Руставели.

Второе произведение Руставели, также не дошедшее до нас, упоминается самим поэтом в первом прологе поэмы. Оно было посвящено царице Тамар, как и его поэма «Витязь в тигровой шкуре».

В первом прологе поэмы Руставели не раз сопоставляет эти два своих произведения, которые одинаково называет — «песни»: новые «песни», посвященные царице Тамар (т. е. «Витязь в тигровой шкуре»), и более раннее свое произведение, также «песни», посвященные Тамар.

Так, в одной из строк первого пролога Руставели пишет (строфа 3):

«Начинаю песни о царице Тамар я, проливающий кровавые слезы (тоски). Песни о ней я и раньше сложил, и те песни недурно были выбраны: чернилами мне служили гишеровые озера (черные очи, которые я лицезрел); а пером (тростниковым) был я сам — колеблющийся тростник (иссохший от тоски). Кто услышит те песни, его сердце будет пронзено, словно копьем».

Итак, бесспорно, что Руставели здесь говорит о раннем своем произведении; он говорит о нем в прошедшем времени («песни о ней я и раньше сложил, и те песни недурно были выбраны...»).

Упомянув об этом раннем своем творении — первых «песнях» в следующей строфе (4-й), Руставели переходит к поэме «Витязь в тигровой шкуре» — к новым «песням», посвященным той же Тамар:

«Глаза мои, не освещенные ее (Тамар) сиянием, снова жаждут видеть ее...».

Поэт в заключительной строфе (5-й) вновь упоминает свои новые «песни» (т. е. поэму «Витязь в тигровой шкуре») рядом с более ранним своим творением — с «песнями» в честь Тамар:

«Узнайте ныне про меня, я воспеваю ту, которую я раньше воспел...»

«...Ниже (в поэме), в иносказании песен, я ее воспеваю».

Таким образом, на основании этих прямых свидетельств самого поэта устанавливается, что Шота Руставели был автором поэтического произведения, которое, подобно «Витязю в тигровой шкуре», было посвящено царице Тамар и которое поэт называет именем «песни».

Возникает вопрос, что представляло собой это произведение?

Некоторые комментаторы предполагали, что здесь идет речь о лирических одах, посвященных Тамар.

Однако, исходя из ряда реалий, мы имеем все основания утверждать, что это раннее произведение Руставели было не собранием од, а поэмой-романом, т. е. произведением той же формы, того же жанра, что и «Витязь в тигровой шкуре».

Сперва о термине «песни».

Мы уже видели, что сам Руставели как первое свое произведение, посвященное Тамар, так и второе — поэму «Витязь в тигровой шкуре» называет одинаково: «песни».

Откуда берет начало такое название поэмы?

Произведения жанра поэма-роман делятся на главы, которые назывались: «сказ» (амбави) или «песнь» (кеба). Отсюда и название поэмы «Песни», т. е. собрание песен, рапсодий, поэтическое повествование, поэма. (В частности, поэма «Витязь в тигровой шкуре» состоит из 33 глав, песен).

Помимо этого прямого указания Руставели — текстуальной идентичности названия обоих произведений — «песни», имеется еще ряд показаний, которые подтверждают, что первое произведение Руставели представляло собой поэму, а не собрание од.

В пользу такого вывода решающее показание мы имеем во втором прологе «Витязя в тигровой шкуре» — *Ars poetica*, которое во вступлении к поэме непосредственно следует за первым прологом.

Перечитаем еще раз текст руставелевского *Ars poetica*:

«Поэзия — прежде всего отрасль мудрости. Божественному ее содержанию должно внимать с благоговением. Она весьма поучительна для слушающих... Обширную мысль можно заключить в краткую речь: вот почему поэзия прекрасна.

Подобно тому, как лучшим испытанием коня является длинный путь и большие перегоны, как об игроках в мяч судят по ристалищу, по меткости удара и ловкости взмаха, так пробным камнем поэта служит умение слагать длинные песни и искусно осаживать поэтического коня, если исчерпан предмет беседы и рифма начинает иссыхать...

Другой вид — малые стихи — удел поэтов, бессильных отлить мысли, пронизывающие сердце, в совершенные формы. Я уподобляю такое стихотворство жалкому луку молодых охотников: крупного зверя им не по силам положить; они могут бить лишь мелкую дичину.

Третий вид стихов хорош для пиров и увеселений, для ухаживания, для легких жанров, для од — восхвалений друзей. И к этим стихам мы обращаемся охотно, если мысль в них озарена светом. Но тот, кто не в силах создать чего-либо крупного, — не поэт.

Таким образом, Руставели в *Ars poetica* считает достойным истинного поэта монументальную поэтическую форму, в которой «обширную мысль можно заключить в краткую речь», чем и прекрасна, по словам поэта, поэзия.

Руставели, правда, с некоторым снисхождением, признает и стихи легких жанров, так же как и оды-восхваления, «если мысль в них озарена светом»; но по его же словам, «тот, кто не в силах создать чего-либо крупного, — не поэт».

Поэт тем более не признает «малые стихи», авторы которых «бессильны отлить мысли, пронизывающие сердце, в совершенные формы».

В то же время Шота свое раннее произведение характеризует совершенно иначе, он пишет:

«...Песни о ней (Тамар) я и раньше сложил, недурно они были выбраны... Кто услышит те песни, его сердце будет пронзено, словно копьем».

Из этого противопоставления вытекает, что раннее творение Руставели о Тамар, о котором упоминается в прологе, было именно поэмой, произведением монументальной поэтической формы, которая и дает возможность, согласно *Ars poetica*, в «совершенной форме» «отлить мысли, пронизывающие сердце».

В заключение отметим следующее. То, что Руставели и до «Витязя в тигровой шкуре» пробовал свои силы в жанре поэмы-романа, представляется нам вполне естественным и закономерным, если учесть непогрешимый артистизм его искусства в «Витязе в тигровой шкуре», безукоризненную гармонию «внутренней формы», совершенное владение мастерством поэтического повествования в жанре поэмы-романа. Такое артистически взвешенное искусство, конечно, не рождается внезапно, как Афина из головы Зевса. Уже по одному этому следовало предположить, что «Витязю в тигровой шкуре» предшествовали другие творения Руставели в этом же жанре поэмы-романа.

И как выяснилось, это так и было; это подтвердили как анализ руставелевских текстов (первый пролог и *Ars poetica*), так и сведения исторического памятника конца XII века «Деяния венценосцев».

Таковы свидетельства, которыми мы располагаем о двух поэмах-романах Шота Руставели, не дошедших до нас и созданных им до «Витязя в тигровой шкуре» в 90-х годах XII века.

VIII

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПОЭТА

Второй период (1196 — 1220 гг.)

ПОЭМА «ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ»

Датировка поэмы

О поэме «Витязь в тигровой шкуре» у нас будет речь ниже. Здесь же, в биографическом обзоре, мы пока ограничимся вопросом о датировке поэмы.

Поэма посвящена царице Тамар. Тамар взошла на престол в 1184 году, скончалась в 1212 году. Соответственно поэма могла писаться между 1184 и 1212 годами. Но дату эту можно еще больше уточнить: поэма написана не ранее 1196 года и не позднее 1207 года.

То, что поэма написана не раньше 1196 года, удостоверяется следующим:

а. Как мы указывали выше, в историческом памятнике «Деяния венценосцев» (первая история Тамар) имеется раздел, где дается перечень персонажей известных в то время художественных произведений. Кроме того, и в одах Чахрухадзе (особенно в V оде) неоднократно упоминаются имена героев популярных литературных произведений. В этих памятниках названы, как мы уже отмечали, действующие лица «Висрамиани», «Амиран-Дареджаниани» Мосе Хонели, «Диларгетиани» Саргиса Тмогвели, «Иосиф и Асанет» (Руставели), «Этериани», «Аналат и Шатбиер», «Осано и Шариел», персонажи «Илиады» Гомера, «Шахнаме» Фирдоуси, «Лейли и Меджнун», «Хосров и Ширин» Низами, «Саламан»

неизвестного автора и другие. В обоих случаях, в «Деяниях венценосцев» и в одах Чахрухадзе, не упомянуты имена героев «Витязя в тигровой шкуре». Очевидно, поэма к этому времени не была создана. «Деяния венценосцев» написаны в двенадцатый год царствования Тамар, в 1196 году. Оды Чахрухадзе, написаны в разное время в первой половине царствования Тамар (в частности, одна написана в 1188 году). Таким образом, 1196 год нужно считать нижним «порогом» при датировке поэмы.

6. Реалии политической географии, содержащиеся в поэме, также полностью подтверждают, что она написана во второй половине царствования Тамар, на рубеже XII — XIII веков. Так, обращает на себя внимание то, что Хорезм в поэме представлен как сильное государство; Хорезм в поэме отождествлен с Ираном, является синонимом Ирана, страны персов. Историческая ситуация, во время которой под владичеством хорезмийцев был объединен Иран, была весьма кратковременной — с 1194 года и далее, включая первые два десятилетия XIII века. Отметим также, что в поэме нет никаких реалий, указывающих на монголов.

Вторая дата — верхний «порог» датировки поэмы — 1207 год — устанавливается следующим образом. Как известно, Тамар своего сына юного Георгия Лаша короновала в 1206 году (когда ему было 12 лет), а с 1207 года, после смерти Давида, юный Георгий Лаша официально признан царем, соправителем Тамар. Принимая во внимание средневековый этикет, трудно представить, чтобы автор в какой-либо форме не упомянул бы о нем, если бы поэма была написана позднее 1206—1207 годов.

Отметим также, что сборник начала XIII века «Тамариани» (в который входят 11 од Чахрухадзе и две элегии) сопровождается маленьким послесловием в стихах; в этом послесловии, которое принадлежит составителю сборника, написанном при жизни Тамар, в конце ее царствования, упоминается героиня «Витязя в тигровой шкуре» Тинатин, сравниваемая с Тамар. Таким образом, мы здесь имеем прямое литературное свидетельство о поэме, относящееся к периоду царствования Тамар.

Итак, «Витязь в тигровой шкуре» был написан в промежутке между 1196 и 1207 годами. Это полдень жизни Руставели, когда ему было 30—40 лет.

IX

ГОНЕНИЯ НА ПОЭМУ. ПОЛЕМИКА С РУСТАВЕЛИ.

ГОДЫ СТРАНСТВИИ

О среднем периоде жизни Шота Руставели (1196—1220 гг.) мы знаем мало. Вычитаны лишь отдельные страницы его биографии, в частности то, о чем мы выше говорили. Но многое в биографии Руставели еще не разъяснено полностью. Кроме того, о ряде фактов имеются поздние свидетельства.

Исходя из всех дошедших до нас сведений о Руставели, можно предполагать, что Руставели выпала доля многих великих людей, которым суждено было открыть новую эпоху. Гениальная поэма Руставели оказалась объектом гонений со стороны консервативных клерикальных кругов.

Известно, что и в более позднюю эпоху, например в XVIII веке, поэма Руставели вызывала сильную оппозицию среди клерикальных кругов. Даже просвещенный католикос Антон I выступил против поэмы и в своем «мерном слове», где имеется раздел о древней грузинской литературе, не забыл упомянуть, что Шота «тщетно потрудился, сие печально».

Весьма определенные обвинения выдвигает против Руставели известный писатель XVIII века Тимофей Габашвили: «Он (Шота Руставели) был сочинителем стихов злонамеренных, научивших грузин пороку, а не святости, и развратившим христианство».

В известной поэме XVII века Арчила Багратиони «Диалог Теймураза и Руставели» автор также вкладывает в уста Теймураза по адресу Руставели обвинения в том, что тот не разделял ряда догматов христианства.

Из всей совокупности сохранившихся материалов о поэме Руставели следует, что враждебное отношение к ней клерикальных кругов имело корни в древности и что оппозиция к поэме в XVII — XVIII веках была поздним отголоском и продолжением гонения, имевшего место в предыдущие столетия.

Так, например, в одном полемическом четверостишии, направленном против Руставели, датированном приблизительно XIV веком и приписанном к вступлению самой поэмы, говорится, что в поэме Руставели нет упоминания святой троицы и что чтение поэмы зачтется в грех правоверным христианам в судный день.

Таким образом, «Витязь в тигровой шкуре» был неприемлем для клерикальных кругов как произведение, проникнутое свободным духом. Шота Руставели навлек на себя гнев клерикалов как вождь грузинского гуманизма.

Чтобы быть ориентированным в возникающих вопросах, здесь следует отметить и следующее обстоятельство.

Древнегрузинские исторические источники свидетельствуют, что к концу царствования Тамар в стране усилилась клерикальная реакция против гуманистического движения. Эти клерикально-реакционные круги чувствовали себя настолько сильными, что после смерти Тамар пошли на открытый конфликт с наследником Тамар Георгием Лаша, поскольку он явно покровительствовал гуманистическому движению. Реакционные круги даже решились прямо угрожать царю лишить его престола, если он не посчитается с ними.

Об этой открытой борьбе между старым и новым в эпоху Георгия Лаша подробно речь будет ниже.

Естественно, что эти круги, бросившие вызов даже царской власти, вряд ли проявили бы снисхождение к Шота Руставели — признанному вождю гуманизма. И Руставели, как видно, подвергался гонениям, возможно, и не раз.

* * *

Тот факт, что Руставели испытал гонение, что ему пришлось на время оставить родину и удалиться в изгнание, имеет отголосок в двух строфах самой поэмы.

«Витязь в тигровой шкуре», как известно, состоит из отдельных поэтических глав (всего в поэме 33 главы). Некоторые из них открываются лирическим вступлением, где поэт выступает с лирическим монологом — от первого лица.

В частности, XVII глава поэмы начинается следующим лирическим вступлением (строфа 886-я):

Мир жестокий, нас ты гонишь вечно от страны к стране,
И любой, тебе доверясь, слезы льет, подобно мне,
Обреченный на скитанья, обездоленный вполне.
Но господь спасет невинных жертв, томящихся в огне.

В этой строфе мы имеем лирическую исповедь поэта:

а) Эта строфа не связана непосредственно ни сюжетно, ни грамматической конструкцией с последующим контекстом;

б) поэт здесь говорит о себе в первом лице, даже подчеркивая это субъективно-лирическое начало словами «подобно мне» («И любой, тебе доверясь, слезы льет, подобно мне»). Отметим к тому же, что в двух древних рукописях поэмы субъективное начало еще более усилено несколько иным вариантом первой строки — «Мир жестокий, **меня ты гонишь** вечно от страны к стране» (вместо «нас ты гонишь»). Не исключена возможность, что прочтение «меня ты гонишь» — первично и более соответствует подлиннику, ибо теснее перекликается с последующей строкой — «И любой, тебе доверясь, слезы льет, подобно мне».

Очевидно, здесь мы имеем одну из строф, которые Руставели внес в поэму, когда он находился на чужбине, в странствиях. В этой лирической исповеди — которую можно назвать песней странника — отразилось душевное смятение великого поэта, оторванного от родины.

* * *

Кроме выше приведенной строфы — песнь странника («Мир жестокий...») — в годы странствий, очевидно, написана еще одна строфа, включенная в поэму, (строфа 144); это лирическая исповедь поэта, которой открывается III глава поэмы:

Мудрый Эзра отвечает нам в диване на вопрос:
Роза мигом увядает, попадая на мороз,
Так и мы, бледнеем, таем, проливая реки слез,
Если жить нам, как изгоем, на чужбине довелось.

Чрезвычайно знаменательно, что Руставели ссылается на «диван» (сборник стихов) Эзры; это известный поэт XI — XII веков бен-Эзра; родился в арабской Испании (Гренада) в 1055 году, умер в 1139 году в эмиграции, в христианской Испании. Цикл стихов, написанный на чужбине во время странствий, вошедший в «диван» Эзры, содержит меланхолические воспоминания о родном крае. В частности, стихотворение Эзры из «дивана» — «Горькие годы странствий» прямо перекликается с приведенной строфой Руставели.

ГРУЗИЯ ВО ВРЕМЕНА ГЕОРГИЯ ЛАША.
ПОДЪЕМ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРУЗИИ.
ЗАПАДНАЯ ПОЛИТИКА ГЕОРГИЯ ЛАША.



В 1212 году скончалась царица Тamar. Ее сын и наследник Георгий Лаша царствует с 1212 года по январь 1223 года.

Это эпоха большого подъема гуманистического движения в Грузии. Хотя Георгий Лаша скончался совсем молодым, 30 лет, но за десять лет своего царствования он проявил себя выдающимся государственным деятелем, дальновидным политиком и талантливым полководцем. При нем границы Грузинского государства и сфера его влияния еще больше расширились. Но об этом ниже.

Историк — современник Георгия Лаша — особо подчеркивает, что Лаша был не только большим полководцем (он сравнивает его в этом отношении с Давидом Строителем), но и умелым руководителем хозяйства страны, пекущимся о ее расцвете и народном благополучии. «Он был счастлив, когда земля хорошо плодоносила», — говорит о Лаше современный историк.

Тот же историк отмечает, что Георгий Лаша был «защитником, опорой страждущих и судьей праведным». Георгий Лаша и его сподвижники проявляли заботу не только о знатных, но и о «мелком люде»; по словам историка, Лаша был «любящий каждого человека, большого и малого».

По словам того же историка, Лаша и его сподвижники проявляли редкую терпимость не только по отношению к свободным, но и к рабам. Историк считает нужным подчеркнуть, что Георгий Лаша, могущественный государь, «царь семи царств, ни одного раба не коснулся кнутом», то есть, что им не был наказан ни один раб (ср. Руставели, строфа 742: «Раздай немущим сокровища, освободи рабов»; строфа 1510: «Всех обильно и ровно осыпали милостью, вдов и сирот сделали состоятельными и нищие не просили»).

Во всех этих сведениях, которые передает современный историк, нельзя не увидеть отзвука великого гуманистического движения, которое широко развернулось в Грузии на рубеже XII—XIII веков.

Вместе с тем борьба между новым и старым во времена Георгия Лаша приобрела очень большую остроту. Георгий Лаша, будучи горячим приверженцем и покровителем гуманистического движения, приблизил к своему двору представителей этого движения в качестве ближайших советников и руководителей в государственных делах. Это обстоятельство вызвало острые разногласия при дворе. Консервативно настроенные старые государственные деятели пошли даже на открытый конфликт с царем. Некоторые старые вазирь (государственные министры) оставили двор, в том числе воспитатель Лаша, деятель с большими заслугами, Иванэ атабаг (первый министр). Древний грузинский историк — автор «Хронографии», — выражающий идеологию клерикально-консервативных кругов, передает: «Особенно Иванэ атабаг и Варам Гагели устранились от участия в дарбази (царском совете); они заявили (Георгию Лаша), что не будут признавать его царем, если он не отступит от злонамеренных людей» (Клерикальный историк представителей гуманистического движения называет «злонамеренными людьми», а свободомыслие нового поколения расценивает как вероотступничество).

Таким образом, оппозиция консервативных кругов была настолько сильной, что она поставила под угрозу царский престол. Эти влиятельные консервативные круги, как видно, решились даже низложить царя, если царь не посчитается с ними; «Не будем признавать тебя царем», — это заявление вазиров было уже открытой угрозой.

Георгий Лаша был вынужден посчитаться с оппозицией и во избежание раскола сделал попытку примирения со старыми вазирями. Однако примирение это носило компромиссный характер. После этого старые вазирь хотя и остаются на своих постах руководителей страны, но сам Лаша верен своим взглядам, по-прежнему близок к гуманистическим кругам, влияние которых не ослабевает.

Во второй половине царствования Лаша даже этот компромиссный мир нарушается. По свидетельству того же клерикального историка, Лаша вновь приближает ко двору представителей нового движения. После этого оба католикоса Грузии и консервативные круги удаляются от царского двора. В «Хронографии» мы читаем: «И хотя обоим католикосам и князьям сего Царства, особенно же Иванэ атабагу (первому министру) было тяжело это, они не пожелали оставаться при нем, удалились от двора и с этих пор находились раздельно».

Особенно знаменательно то обстоятельство, что во время этого второго конфликта (во второй половине царствования Лаша) от царского двора удалились не только ряд государственных деятелей консервативного круга, но и оба католика Грузии. Не трудно догадаться, чем была вызвана эта акция церкви. Очевидно, именно в это время Лаша и приблизил к царскому двору в качестве ближайших советников и руководителей в государственных делах тех просветителей, деятелей гуманистического движения, свободомыслие которых вызывало особое противодействие клерикалов. Среди них был, как выяснится из дальнейшего исследования, Шота Руставели.

Такой характер приобрела борьба между старым и новым в первой четверти XIII века.

Хотя отход от государственных дел, своеобразный саботаж консервативных кругов создавали большие трудности, Георгий Лаша и близкие к нему гуманистические круги достойно, с большим знанием дела руководили государством.

Мы уже видели, что в эпоху Тамар Грузия являлась большим государством европейской цивилизации на рубеже Востока.

При Георгии Лаша границы Грузинского государства и сфера его влияния еще более расширились.

Во-первых, усилилось и упрочилось влияние Грузии в северном Иране — в Иранском Азербайджане, как об этом свидетельствуют исторические источники — грузинские (история эпохи Георгия Лаша), персидско-арабские (Несеви, Джувейни, Рашид-ад-дин, Ибн-аль-Асир), географический текст начала XIII века «Аджаб-ад-Дуния», армянский (Мхитар Айриванский).

Еще большее значение имело включение в сферу влияния Грузии Хлатского султаната, охватывающего территории исторической южной Армении (зона Ванского озера и секторы Верхнего Евфрата вплоть до Месопотамии), в силу чего хлатский султан носил титул «Шах-Армена».

Мы здесь несколько подробнее коснемся именно взаимоотношений Грузии и Хлатского султаната, ибо это тесно связано с историческими событиями, о которых речь будет ниже.

Основное коренное население Хлатского султаната, исторически южной Армении, составляли армяне, христиане, но довольно большим был и удельный вес мусульман; политическая же власть начиная с XI века (то есть со времени великого переселения тюрок-сельджуков) находилась в руках мусульман.

В царствование Георгия Лаша Хлатский султанат входил в качестве составной части в великое объединение египетско-сирийско-месопотамского мусульманского государства, возглавляемое Мелик-аль-Адилем (1193—1218) — братом и преемником великого Саладина, покорителя Иерусалима. Египет, Сирия и Месопотамия не являлись к этому времени единым, унитарным, прочно объединенным государством, а представляли собой союз трех царств — Египта, где была резиденция главы династии Мелик-аль-Адила, Сирии и Месопотамии. Хлатский же султанат был включен в этот союз позднее (с 1207 года) и был связан унией с Месопотамским царством. При Георгии Лаша во главе этого объединенного царства Месопотамии и Хлата находился Мелик Ашраф (1211—1237), сын вышеупомянутого Мелик-аль-Адила, племянник Саладина.

По свидетельству историка Георгия Лаша, в первый период своего царствования Лаша совершил поход в «великую Персию» и присоединил северный Иран (Иранский Азербайджан). Тот же историк передает, что Лаша вслед за иранским походом завоевал Хлатское царство. Историк сообщает, что Георгий Лаша, после победы, «внял прошению хлатского владетеля и как победитель принял его под покровительство, даровав ему мир при условии непогрешности его».

Хлатский султанат становится вассальным царством и входит в сферу политического влияния Грузинского государства. Это произошло в 1215—1217 годах (не позднее 1218 года, ибо в это время еще был жив отец хлатского владыки Мелик-аль-Адил). Завоевание Хлатского султаната произошло в результате больших военных столкновений.

Победоносные походы грузинского войска имели огромный резонанс на Ближнем Востоке. Авторитет Грузинского государства был поднят на новую высоту, а за грузинским войском упрочилась слава непобедимого воинства.

Европейские крестоносцы, незадолго до этого потерявшие Иерусалим (он был взят в 1187 году Саладином) и закрепившиеся к началу XIII века по соседству с Иерусалимом на Средиземноморском побережье Сирии и Западной Палестины, с подлинным ликованием встретили победу грузин. Европейцы стали надеяться, что Георгий Лаша, завоевав Хлатский султанат, вступит также и в Сирию, что сирийско-египетское мусульманство не сможет противостоять грузинам и грузинское войско добьется освобождения Иерусалима.

О воодушевлении и надеждах, порожденных среди европейских крестоносцев грузинскими победами в Хлате, красноречиво говорит один знаменательный документ, а именно — письмо, посланное из палестинских кругов крестоносцев во Францию, архиепископу Безансонскому — Амедею де Тремлю (Безансон в это время был независимым феодалом, и архиепископ Безансонский был одновременно и владетелем этого края).

Письмо послано около 1215 года, то есть как раз в годы завоевания грузинским войском Хлатского султаната. В письме мы читаем: «Иверийцы, христиане, георгенами именуемые, с бесчисленной конницей и пехотой, с вдохновляющей помощью божьей, военной мощью весьма оснащенные, выступили быстро против неверующих и, взяв уже 300 крепостей и 9 больших городов, сильные из них захватили, а маломощные превратили в прах. Из означенных городов один, расположенный на Евфрате, самый процветающий и выдающийся из всех городов языческих, принадлежал сыну вавилонского султана, который был обезглавлен вышеназванными христианами, хотя готов был выдать безмерные золотые сокровища».

Вышеназванные (иверийцы) выступают для освобождения святого града Иерусалима и покорают все земли нечестивых. Прославленному их царю шестнадцати лет (в действительности Георгию Лаша к 1215 году было 23 года. — П. И.), равный **Александру** мощью и благостью, но не верой (ибо Александр Великий был язычником, и христианская вера Георгия Лаша выше его веры. — П. И.). Юноша этот носит с собою кости матери своей, могущественнейшей царицы **Тамар**, которая, пока была жива, дала обет побывать в Иерусалиме и просила сына своего, после своей смерти, упокоить ее кости близ гроба господня. Он же, желая выполнить обет своей матери, решил перенести ее прах в святой град независимо от воли язычников».

Это письмо написано после первых сведений, полученных в Иерусалиме, и на основе распространившихся тогда слухов. Упоминаемый в письме сын вавилонского султана, владетель Хлатского государства — это Мелик-Ашраф, сын Мелик-аль-Адиля, главы объединенного египетско-сирийско-месопотамского государства. При покорении Хлатского султаната Мелик-Ашраф был взят в плен, что и вызвало на Ближнем Востоке, и в частности в Сирии и Палестине, слухи о его казни. Но слухи эти не соответствовали действительности. После перемирия Георгий Лаша освободил Мелик-Ашрафа, оставив его правителем Хлата на вассальных началах. Мы уже ссылались на свидетельство грузинского историка, согласно которому Георгий Лаша «внял прошению хлатского владетеля и как победитель принял его под покровительство, даровав ему мир при условии непогрешности его...».

Точно так же питалось слухами и сообщение о Тамар, прах которой никому не пришло бы в голову беспокоить. Тамар была похоронена в Гелати в январе 1212 года, как это подтверждают три историка начала XIII века.

* * *

Следует подчеркнуть, что включение Хлатского султаната в сферу влияния Грузинского государства явилось большой акцией западной политики, проводимой в ту пору Грузией.

Той же западной политикой была продиктована великая акция Грузии в начале XIII века — основание царицей Тамар Трапезундского царства, которое должно было служить Грузии мостом и твердой опорой для установления тесных взаимосвязей с Европой через Константинополь.

Включение же Хлатского султаната в сферу политического влияния Грузинского государства явилось новым шагом по пути, конечной целью которого было установление непосредственного контакта с западноевропейцами, обособившимися на Средиземноморском побережье Сирии и Палестины.

Как видим, этот шаг так и был воспринят самими европейцами.

Кроме того, сам факт вассального подчинения султана Месопотамии-Хлата Мелик-Ашрафа Грузии свидетельствовал о слабости союзного мусульманского государства, владевшего Иерусалимом; ведь из трех союзных царств, составлявших это государство (Египет, Сирия, Месопотамия-Хлат), третье уже выбыло; это давало основание надеяться — как в Грузии, так и в Европе, — что объединенные силы грузин и европейцев смогут добиться осуществления общих политических целей в Сирии и Палестине.

* * *

В Европе к письмам, аналогичным вышеприведенному, относились с величайшим интересом, широко их распространяли и публично зачитывали перед началом крестовых походов.

В 1219 году начался новый крестовый поход европейцев на Восток. Крестоносцы высадили десант в Египте и взяли город Дамьетту, считавшийся первокласной крепостью. Этот крестовый поход длился с 1219 по 1221 год.

Крестоносцы сообщили о начале похода Георгию Лаша и обратились к нему за помощью. В одной из европейских хроник этой эпохи отмечается, что после взятия Дамьетты в 1220 году папа римский Онурий III отправил послание и послов «в страну грузин, которые сильны в вере и могущественны в войне, и просил их начать со своей стороны войну против сарацинов» (хроника германского летописца XIII века Альберта монаха).

В источниках сохранились свидетельства о получении крестоносцами ответного послания от грузин, в котором крестоносцы уведомлялись, что грузинское войско не замедлит с выступлением и что оно дало обет не отстать от франков (европейцев) в войне с сарацинами за освобождение Палестины.

В Грузии ускоренно начали готовиться к походу.

Но к границам Грузии в это время подступили полчища монголов.

XI

ВЕЛИКИЙ ПОЭТ — ОТЕЦ НАРОДА

Последний период жизни Шота Руставели (1220—1250 гг.)

20—30-е годы XIII столетия — эпохальная веха, поворотный пункт в истории народов Восточной Европы.

В 20—30-е годы началось великое передвижение народов Восточной и Центральной Азии во главе с монголами на запад, их опустошительные нашествия на страны европейского культурного круга. Жертвами этого нашествия оказались: на юго-восточных границах Европы — **Грузинское государство** и на северо-востоке Европы — **Русское государство**, земли восточных славян.

В годы этого эпохального политического кризиса Грузинского государства Шота Руставели выступает в роли великого общественного и государственного деятеля. Руставели и вместе с ним плеяда грузинских патриотов самоотверженно руководят страной во времена национального бедствия.

Шота Руставели — величайший поэт Грузии — стал подлинным отцом народа.

В связи с биографией Шота Руставели нам здесь придется несколько подробнее осветить факты истории Грузии эпохи монгольского нашествия, поскольку Руставели являлся непосредственным и деятельным участником этих поистине мирового значения событий.

Исторические факты, о которых пойдет речь ниже, знаменательны не только с точки зрения истории Грузии, но и в плане истории общеевропейской. Народы Восточной Европы в эту эпоху понесли огромные жертвы в деле защиты европейской культуры.

Это в основном и в первую очередь относится к пограничным странам восточноевропейского мира — к Руси и Грузии.

Народы Руси, восточные славяне — русские, украинцы, белорусы принесли великую жертву на северо-восточных рубежах Европы.

В то же время на юго-восточных рубежах европейского мира столь же великая жертва была принесена грузинским народом.

Монгольское нашествие было задержано и ослаблено как в землях восточных славян, в Руси, так и в Грузии; народы этих стран преградили путь монголам, задержали и приостановили их движение на страны западного мира.

1

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ МОНГОЛОВ В СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО МИРА.

Бои в Грузии в 1220—1222 годах.

Бои на границах Русского государства в 1223 году.

К 1220 году в пределы Монгольского государства уже входила большая часть Азии от границ северного Китая до Каспийского моря. В 1220 году под натиском монголов рухнула Хорезмская империя, большое исламское государство в Азии, включавшее в себя страны Средней Азии, Иран и Афганистан — вплоть до подступов к Индии.

После этого руководители Монгольского государства ставят задачей покорение западных стран.

Первый монгольский поход на запад, в страны европейского мира, состоялся в 1220—1223 годах. Это была большая военно-разведывательная экспедиция. Глава Монгольского государства Чингисхан поручил своим военачальникам с боем пройти в западном направлении, до возможных пределов, и вернуться в Монгольское государство северным путем, по северному побережью Черного и Каспийского морей. На эту большую военную экспедицию Чингисханом был положен трехлетний срок.

Первой страной Запада, к границам которой подступили монголы, была Грузия. К началу зимы 1220 года монголы форсировали пограничную реку южного Закавказья Аракс и вторглись в Арран, расположенный в юго-восточном Закавказье (граничащий на востоке с Каспийским морем), населенный тюрко-сельджуками. Арран к этому времени, как мы знаем, находился в вассальной зависимости от Грузии. Номады монголы расположились на знаменитых зимних пастбищах Аррана.

Георгий Лаша сразу же установил связь с соседними странами в целях организации союза для изгнания вторгшихся монголов.

Известный арабский историк Ибн-аль-Асир (1160—1234), современник описываемых событий, сообщает:

«Послали грузины (послов) к Узбеку, владетелю (Иранского) Азербайджана, установить мир и согласие и идти вместе против татар (монголов). И они помирились и условились собраться, когда зима пройдет.

Они (грузины) также послали к царю Аль-Ашрафу, владетелю Хлата и Месопотамии, объединиться с ними (с грузинами)¹.

Они все думали, что татары останутся на зимовье до весны, но те поступили иначе; они двинулись и пошли в страну грузин».

В конце 1220 и в январе-феврале 1221 года между грузинами и монголами произошло несколько сражений. Монголы, имея ставку в центре Аррана (у реки Балис-цкали), совершили ряд экспедиций в Грузию. В первых сражениях грузины потерпели поражение. Для грузин оказались неизвестными и совершенно чуждыми своеобразные методы ведения боя монголами. Вместе с тем военное искусство монголов стояло на большой высоте (в их распоряжении к тому же находилась военная техника народов, входивших в огромную монгольскую империю, простиравшуюся от северного Китая до Каспия).

Немаловажным оказалось и то обстоятельство, что об этом неведомом народе — монголах — распространялись многие легенды. Приблизившись к Грузии — христианской стране, — сами монголы, в целях дезориентации противника, распространили слухи, что они христиане². Это облегчало предварительную разведывательную работу монголов и, как отмечено в официальных документах того времени, способствовало первым победам монголов.

Но скоро в грузино-монгольской войне наступил перелом. В последнем, решающем сражении, которое произошло в феврале 1221 года, грузины одержали большую победу. Грузины с боем взяли и главную ставку монголов в Арране (при реке Балис-цкали) и заставили их отступить с большими потерями.

После этого монголы изменили план своей экспедиции. Они решили, минуя Грузию, иным путем продолжить продвижение на запад, а именно: вернувшись в Иранский Азербайджан, пересечь разделяющие Азербайджан и Месопотамию горы и, пройдя Месопотамию (через Арбелы и Диарбекир), вступить в Анатолию, в Румский султанат, на древнюю византийскую землю. Отсюда уже открывалась дорога к Никейскому греческому царству и самому Константинополю.

Монголы оставили Закавказье и перешли в Иранский Азербайджан в феврале 1221 года. Однако они не смогли осуществить и эти свои планы. Георгий Лаша дал знать о движении монгольских войск властителям Месопотамии и организовал их против монголов.

Кроме того, Георгий Лаша отправил специального посла в Багдадский халифат, предложив халифу принять участие в совместных мероприятиях, имевших целью отрезать монголам пути.

Подступив к пограничным с Месопотамией горам, монголы нашли все перевалы запортыми, а войска властителей Месопотамии закрепившимися в непри-

¹ Аль-Ашраф, владетель Хлата и Месопотамии, был вассалом Грузинского государства.

² В грузинские села монголы вступали, неся перед собой крест (точно так же, неся перед собой крест, монголы вступали в бой).

ступных горных теснинах и готовыми к бою. Таким образом, план проникновения в Месопотамию не удался, и монголы остались в Иранском Азербайджане на весь 1221 год, подавив вспыхнувшее в тылу восстание иранцев и захватив все основные центры страны.

В конце 1221 года монголы наметили новый план: они решили вернуться в Закавказье и, обойдя собственно Грузию, продвигаться по восточному Закавказью и через знаменитые прикаспийские Дербентские врата проникнуть на Северный Кавказ, а отсюда в половецкие степи и далее в Россию.

В начале 1222 года монголы вступили из Иранского Азербайджана в Закавказье, в Арран. Грузинские руководители, зорко следившие за каждым движением монголов, подготовленно встретили их появление. Грузинские войска заняли боевые позиции на восточных границах Грузии. Одновременно Георгий Лаша дал указание Ширван-шаху запретить Дербентские врата, расположенные на ширванской территории. Такое же распоряжение было послано и лично правителю Дербента, местному вассалу грузинского царя.

Монголы, узнав о боевой готовности грузин, в осуществление своего плана, двинулись в сторону, минуя Грузию, и направились к Дербенту. В Ширване они окружили столицу Шемаху, взяли ее и разгромили. Но, дойдя до Дербента, они оказались в тупике. Подступы к Дербентским вратам оказались закрытыми. Монголам ничего не оставалось, кроме преодоления непроходимых переходов Кавказского хребта.

Историки XIII века, современники этих событий, следующим образом описывают ширванский поход монголов. Арабский историк Ибн-аль-Асир (1160—1234) пишет:

«Управившись с городом (Шемахой, столицей Ширвана), они (татары, монголы) захотели вернуться (на родину) через «ущелье» (Дербентские врата), но не смогли (сделать) это*. И отправили посла Ширван-шаху, владельцу Ширванского ущелья (Дербентских врат), сказать ему, чтобы он прислал к ним посольство для улажения мира между ними. Он отправил десять человек из знатнейших людей своих. Они (татары) схватили одного из них и убили его, а остальным сказали: «Если вы нам укажете путь, по которому мы можем пройти, то вам будет пощада, если же не сделаете, то мы убьем вас, как убили этого». Те сказали им: «Через это «ущелье» (Дербентские врата) нет никакой дороги, но в нем есть место, которое удобнее других дорог. Они (татары) пошли с ним на этот путь, перебрались по нему и оставили его (Дербентские врата) позади».

Второй современник — армянский историк XIII века Киракос Гандзакский передает следующее:

«Царь Грузии снова собрал войско, многочисленное, чем в первый раз, и приготовился дать им отпор. Но те, взяв с собой жен, детей и имущество, направились к Дербентским вратам с намерением возвратиться восюзи. Однако таджики (ширванцы), владевшие Дербентом, не пропустили их. Тогда татары (монголы) по местам неприступным перешли Кавказские горы, заваливая пропасти деревьями, камнями, бросая туда свое имущество, даже лошадей и военное снаряжение, и таким образом пошли в свою родину».

Как видим, этот первый монгольский поход в Грузию (1220—1222 гг.) завершился, в конечном итоге, провалом. Последнее отступление монголов из Грузии приняло характер беспорядочного бегства. А главное, монголы не смогли осуществить свои широко намеченные планы, не смогли пробить себе путь в западном направлении, не смогли проникнуть в Анатолию, в древние византийские земли и в Никейское греческое царство, граничащее с Константинопольским царством латинян. Грузинское государство не только само дало отпор монголам, но оно смогло организовать и соседние страны, в том числе раньше враждебные Грузии. Так удалось сомкнуть непроходимое кольцо вокруг монгольских войск. Таким образом, Грузия одержала над монголами не только военную, но и политическую победу своими мудрыми международными акциями.

Современники, бывшие свидетелями того, сколь молниеносно завоевали монголы Азию, расценили монгольское отступление из Грузии в 1222 году как крупную победу Грузии. Такова точка зрения как грузинского историка времен Георгия Лаша, так и армянских, а также арабских историков. В частности, цитированный уже нами арабский историк Ибн-аль-Асир приводит содержание ответа грузин послам хорезм-шаха Джалалэддина, объявившего Грузии войну. Ибн-аль-Асир пишет:

«Джалалэддин, с того времени как он появился в этих местах (в Иранском Азербайджане), не переставал говорить:

* Подступы к Дербентским вратам были перекрыты.

«Я хочу совершить поход в страну грузин, сразиться с ними и овладеть их страной».

Поэтому, как только захватил (Иранский) Азербайджан, послал (посла) сообщить грузинам о предстоящей с ними войне, на что (грузины) ему ответили: «К нам пришли татары (монголы), которые, ты знаешь, как поступили с твоим отцом, который был могущественнее тебя, у которого войско было многочисленнее твоего и который — как ты знаешь — был сильнее тебя духом, и татары захватили ваши земли.

Но мы их (татар) не считали достойными внимания, и самое большее, о чем они думали, уйти от нас по добру по здорову».

Мы здесь не будем задерживаться на дальнейшей истории экспедиции монголов, после того как они отступили из Закавказья через непроходимые теснины и перевалы Кавказского хребта на Северный Кавказ. Лишь за Кавказским хребтом удалось монголам собраться с силами, пройти с боями восточноевропейские равнины вплоть до границ русских земель. После известного русско-монгольского сражения при Калке (1223 г.) монголы двинулись на восток, прошли с боями земли Приволжья и вернулись в Азию, в Монгольское государство¹.

2

1223 — 1235 ГОДЫ

Не прошло и года после отступления монголов из Грузии, как скончался грузинский царь Георгий Лаша, совсем еще молодой, в возрасте 30 лет (18 января 1223 года). Грузия потеряла большого государственного деятеля.

После смерти Георгия Лаши на протяжении двух последующих десятилетий Грузинское государство возглавляет царица Русудан (1223—1243) — сестра Георгия Лаши.

С 1223 года в Грузии вновь взялись за подготовку к участию в крестовых походах совместно с западноевропейцами, как об этом было договорено между Георгием Лаши и европейскими руководителями.

В начале 1224 года царица Русудан писала папе римскому Онорию III:

«...Сообщаем Вашей святости, что брат мой царь Грузии скончался и царство его приняла я... От Вашего дамыетского посла мы получили Ваш великий совет и веление о том, чтобы брат мой выступил на помощь христианам. Он был преисполнен этого желания и уже готовился к походу, когда злобствующие татары вторглись в нашу страну... Великие бедствия причинили они нашему народу... Мы их вначале не остерегались, ибо приняли их за христиан². Но когда мы узнали, что они за христиане, сразу же собрались с силами и дали отпор, уничтожив 25.000 врагов, многих пленив, а остальное их войско изгнав из нашей страны...»

Ныне же мы возрадовались, узнав, что по приказанию Вашему император должен двинуться в Сирию для освобождения святых мест. Мы просим сообщить нам, когда именно двинется император, чтобы и мы послали для вызволения святых мест полководца Иванэ со всем нашим войском... Сообщаем также, что наш полководец Иванэ и другие князья нашей страны приняли посвящение в крестносцы и ждут похода...»

Папа римский Онорий III в своем ответном послании к Русудан писал:

«Нас радует ваша верность вере... и особенно свято, что Вы защищаете веру в окружении нечестивых, рядом с которыми живете, и сияете подобно свету во тьме и как лилии в терниях...»

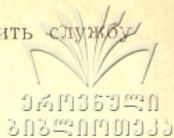
Что же касается желания Вашего узнать время выступления нашего возлюбленного сына Фридриха Блистательного, императора Рима и короля Сицилии, чтобы принять участие с Вашим войском в освобождении святых мест, то сим сообщаем, что император собрал всю вооруженную мощь и после праздника Иоанна Крестителя (29 августа) выступит в поход на один год в полной готовности и в сопровождении бесчисленного множества верующих... Желаем Вам, согласно

¹ Основные источники о грузино-монгольской войне 1220—1222 гг.: грузинские: история эпохи Георгия Лаши; Хронография; послание царицы Грузии Русудан к папе римскому Онорию III (1224 г.); послание государственного министра Грузии Иванэ атабага к папе римскому Онорию III (1224 г.); армянские: Киракос Гандзакский; Вардан; Григорий Анкрский; восточные: Ибн-аль-Асир; Рашид-ад-дин.

² В другом письме от 1224 года (посланном папе римскому Онорию III государственным министром Грузии Иванэ атабагом) сказано: «Татары вошли в нашу страну (Грузию), неся перед собой крест».

Вашему обещанию, тоже подготовить воинство Ваше, чтобы сослужить службу Иисусу Христу так, как это достойно Вашего величества...

Прочтите послание это всем Вашим подданным...»



* * *

В Грузии ошибались, предположив, что с первой монгольской экспедицией наступил конец наступлению из Азии. Наступление это вскоре возобновится и продолжится до тех пор, пока полностью не будут завоеваны пограничные страны Восточной Европы, на северных ее рубежах — Русское государство, на южных же границах — Грузинское государство.

Монголы возвратятся в восточноевропейские страны и, в частности, в Грузию в 1236 году, спустя 13 лет после первой экспедиции. К тому же этот короткий промежуток между первой и второй монгольскими экспедициями вовсе не был для Грузии периодом передышки. Грузия не добилась мирной жизни и в этот промежуточный период.

Подобно тому, как после землетрясений на дне океана приходят в движение гигантские волны — цунами, великое переселение народов, начатое в Азии монголами, дало толчок и соседним народам.

В 1223 году в Закавказье вторглась большая масса половцев (кипчаков).

Арабский историк XII—XIII веков Ибн-аль-Асир передает: «После того, как татары (монголы) заняли кипчакские земли, кипчаки рассеялись. Одна часть их направилась к России, другая рассеялась по своим горам, большинство же собралось и ринулось к Дербенту—Ширвану».

Половцы взяли Дербент и вступили в Закавказье. В 1223—1224 годах происходит сражение между грузинами и половцами. Половцы терпят поражение.

Но это был сравнительно незначительный эпизод.

Подлинной катастрофой явилось для Грузии вторжение хорезмийцев во главе с Джалалэдином.

С тех пор как монголы завоевали Хорезмскую империю и обосновались в Иране, часть населения внутреннего Ирана, теснимая монголами, двинулась к западу, а вместе с нею направились на запад и уцелевшие части хорезмской армии, возглавляемые хорезм-шахом Джалалэдином. Эта огромная масса населения из внутреннего Ирана осела в Иранском Азербайджане, еще свободном от монголов. Джалалэдин смог организовать Иранский Азербайджан и войска, отступившие из Ирана, установил связь с соседними мусульманскими странами и, сколотив огромную армию, двинулся на Грузию.

Грузинское войско, считавшееся на Востоке непобедимым, проиграло генеральное сражение. Древний историк считает причиной поражения измену, раздоры и соперничество феодалов. Так ли это было, не имеет, в конечном итоге, значения, но совершенно ясно, что сказалось отсутствие такого опытного руководителя страны, каким был большой государственный деятель Георгий Лаша.

Выиграв генеральное сражение, хорезмийцы заняли Тбилиси. Джалалэдин решил полностью уничтожить грузинское население столицы. Современник этих событий, арабский историк Ибн-аль-Асир сообщает следующее: «Уничтожили всех находившихся в городе грузин, не пощадив ни стара, ни млада». По свидетельству древнегрузинского исторического памятника «Хронографии», в Тбилиси в это время погибло около ста тысяч человек. Упомянутый арабский историк Ибн-аль-Асир объявляет взятие Тбилиси и поражение западной страны, христианской Грузии, подлинным праздником для агрессивных сил Востока. Он пишет:

«Эта победа Джалалэдина имела величайшее значение для мусульманских стран и мусульман, ибо грузины всегда брали верх над ними (мусульманами) и делали с ними что хотели. Они вторгались в любую область (Иранского) Азербайджана, не встречая ни с чьей стороны помехи или отпора. То же самое они делали в Арзруме (Карну-калаки), так что его владетель надел даже почетную одежду (халат), пожалованную ему грузинским царем и высоко держал над своей головой знамя, на верхней части которого был крест.

Могущество грузин достигло такой степени, что Рукн-ад-дин, властитель Иконии и всех мусульманских владений Рума, собравший неисчислимое войско как в своих, так и в других (мусульманских) владениях и двинувшийся походом к Арзрумскому краю, потерпел жестокое поражение от грузин и был обращен в бегство».

Ибн-аль-Асир, перечислив ряд мусульманских властителей, которых победили грузины, добавляет:

«Эта страна (Грузия) была опасной для иранцев еще во времена до ислама и такой остается она для мусульман по сей день. Никто, кроме Джалалэдина, не решился выступить против грузин и поступить с ними так, как поступил он».

Хозяиничанье хорезмийцев в Грузии длилось шесть лет. Правда, им не удалось проникнуть ни в Западную Грузию, ни в горные районы Восточной Грузии, не удалось им захватить ни одной значительной крепости в Грузии, кроме Тбилиси, но они причинили все же огромный вред оккупированным областям Грузии.

В 1231 году большое войско монголов вступило в Иранский Азербайджан и оккупировало эту последнюю независимую часть Ирана. Джалаледдин лишился тем самым опоры в Азербайджане, бежал оттуда и погиб в том же 1231 году. Хорезмское войско расплозлось и растаяло.

Так закончилась эта последняя военная страда бывшей Хорезмской империи.

* * *

Какие же взаимоотношения установились между Грузией и монголами с 1231 года, после того, как монголы оккупировали Иранский Азербайджан?

Монголы вошли в Закавказье в том же 1231 году и захватили лишь одну закавказскую страну — Арран (населенный мусульманами — тюрками-сельджуками и принадлежавший ранее Иранскому Азербайджану). Здесь они и остановились. Границу собственно Грузинского государства они не переступили. Они признавали Грузию христианским государством европейского круга, а как впоследствии выяснится, существовало распоряжение Великого Хана не трогать до поры до времени западные страны. Таким образом, граница между Монгольской империей и Западным миром пролегла вдоль южных границ Грузинского государства.

Монголы, утвердившиеся в Азербайджане, стали постепенно расширять свои владения южнее Грузии, в направлении мусульманских государств, но Грузии не касались. Более того. Когда монголы заняли бывший Хлатский султанат, Грузия присоединила к себе несколько северных районов Хлата (Сурман, кантоны Верхнего Аракса и Верхнего Евфрата, Валашкерт), населенные христианами-армянами. Монголы на эту акцию не реагировали и примирились с ней.

Таким образом, все как будто свидетельствовало о том, что между Монгольской империей и Грузией устанавливаются нормальные взаимоотношения и закрепляется своего рода мирное сосуществование. В течение пяти лет, с 1231 по 1236 год, мир на границах Грузии не нарушался*.

Но это был не мир, а затишье перед бурей.

* Основные источники о событиях 1223—1235 гг.: грузинские: Хронография; послание царицы Грузии Русудан к папе римскому Онорию III (1224 г.); послание государственного министра Иванэ атабага к папе римскому Онорию III (1224 г.); армянские: Киракос Гандзакский; Вардан; Степанос Орбелян; восточные: Ибн-аль-Асир; Несевн; Джувейни; Рашид-ад-дин.

Продолжение следует



Михаил ЗАВЕРИН

ВНИМАЯ ГУЛАМ ЭПОХИ...

1.

Вторая половина века в русской литературе означена творчеством Достоевского.

Перелом от века прошлого к веку нынешнему в грузинской литературе означен творчеством Важа Пшавела.

Самобытнейшие художники, в каждой строке своей плоть от плоти и кровь от крови родного народа, прозаик и поэт, — они, вместе с тем, во внутреннем течении своих произведений, в самой структуре их, в каких-то существеннейших сторонах их художественной идеи запечатлели в прямо-таки разительном согласии друг с другом стук тех часов, которые и в России и в Грузии показывали время очистительной грозы, духовного взлета, революционного творчества человека — вершителя жизни.

Большое историческое время отвело и Достоевскому и Важа, продолжателям многовековых духовных исканий человечества, свои неповторимые страницы: их творения — фонограммы огромных, немолчных, без усталости накачавшихся на старейший мир валов великой народной бури. И, может, в этом еще одно доказательство многонациональной сущности нашей Революции.

2. «В этом прекрасном и яростном мире...»

Сведения об имущественном положении братьев Карамазовых нам представляются полнейшие: Дмитрий был наследником имения, дома и поместья, оставшихся после покойной матери; Иван и Алексей получили по завещанию генеральши по тысяче рублей каждый «на их обучение, и чтобы все эти деньги были на них истрачены непременно, но с тем, чтобы хватило вплоть до совершеннолетия, потому что слишком довольно и такой подачки для таких детей, а если кому угодно, то пусть сам раскошелливается». И надо сказать, что деньги остались в неприкосновенности — нашелся добрый человек, который принял на себя все расходы по воспитанию и образованию детей. А капитал, как указано в романе, возрос вместе с процентами даже до двух тысяч

рублей. Так что, когда через несколько лет перед братьями разверзлась вся сложность и противоречивость жизни, когда взору их открылась вся убогость и нелепость окружающей действительности, — конфликт оказался далеко не чисто психологическим, за ним стояла вся чересполосица социального бытия. Российского государства. Не случайно на последних страницах романа рассказано о «странном сне» Дмитрия Карамазова, который увидел «вдруг» наповину сгоревшее черное селение, выстроившихся на дороге худых, изможденных баб с испытанными лицами, какую-то молодуху, костлявую, худощую, с ребенком на руках, а ребеночек плачет — в иссохшей груди матери нет ни капельки молока. И спрашивает Митя у возницы, — и не вопрос это вовсе, а стон тяжкий, несдержимый: «Почему бедны люди, почему бедно дитя, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, почему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды, почему не кормят детей?» Но не вопрос это только. Все существо Дмитрия жаждет ответа, решения, исхода. Не снести ему отныне плача ребенка, иссохшей, исстрадавшейся матери, не будет ему жизни, если сейчас, сию минуту не сделает он чего-то, «со всем безудержем карамазовским», чтобы никогда не падали слезы из глаз детей и матерей. И к нему приходит прозрение («на таких, как я, нужен удар, удар судьбы, чтоб захватить его как в аркан и скрутить внешнею силой»), прозрение приходит мгновенно, но за ним — годы страданий, сомнений и терзаний.

Здесь и проходит первый водораздел между героями романа Достоевского, здесь коренится главный источник его многозначности. Если Иван и Алексей — изначально мученики и страдальцы, каждым нервом своим ощущающие боли и тяготы окружающих, все углубляющуюся бездну между будущим и настоящим, между нынешней жизнью и вечностью, между бездушием и духовностью, то Дмитрий спокоен был в своем душевном ослеплении, не печалился болями ближнего своего. Но узость и теснота его бытия обнаружили в час роковых испытаний, вымг обрушившихся на него жесточайших страданий. И

тогда-то и исторгся из сердца его неудержимый крик надежды и спасения: «Узнал я, что не только жить подлецом невозможно, но и умирать подлецом невозможно... Нет, господа, умирать надо честно...». Узнал Дмитрий, что страшнее смерти муки наболевшей совести.

В прозрении Дмитрия легко обнаружить железную посылку истории. Закрывать глаза на существо совершающихся перемен было уже невозможно, необходимо было искать свое место в великих событиях и не бежать логики развития приходилось, а постигать ее внутренний смысл. Сформулировав так, или примерно так, свою роль перед ликом нарастающей лавины событий, Дмитрий тянется к людям, стремится судьбу свою растворить в общенародной судьбе. Его внезапная самоотверженность, опять-таки выраженная с «карамазовским безудержем» («Господа, все мы жестоки, все мы изверги, все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из всех — пусть уж так будет решено теперь — из всех я самый подлый гад! Пусть!»), — выражение его душевного прозрения и отражение нараставших в России социальных бурь и перемен.

Теперь, сливаясь с многомиллионной массой граждан России, приходилось думать не только о самом движении, но и о будущих путях-дорогах. Внутри древнего, как мир, конфликта между творцом и обывателем, между жизнью и омертвлением, между духовностью и бездушием обозначился новый, подспудный, внутренний конфликт — возник спор об исторических путях-перелутьях — вернее, о судьбе старых «традиционных» дорог самоотверженной гуманности и добра, которые по мысли некоторых «нетерпеливых реформаторов» были исчерпаны и грозили вот-вот оборваться. Что же, в самом-то деле, за недалеким взгорьем — обрыв, слепящая глаз пустота или новый подъем. манящий рассвет наступающего дня?

Спор был далеко не беспредметным — если нынешний путь самоотверженного служения добру, самоограничения и самоотдачи — путь в гибель личности, в никуда, то разумней остановиться, пока не все окончательно потеряно, разумней даже, коли на то пошло, жить сегодняшним днем и часом, не уповая на далекое или близкое будущее! Вот Иван Карамазов и отвергает дальнейшую необходимость и возможность самоограничения и самоотверженности, необходимость самой жизни в Добре, он отвергает бога, если пользоваться его терминологией.

Позиции сторон, задушевные, продуманные, выношенные — обнажены до предела. «Иван, говори: есть бог или нет? Стой, наверно говори, серьезно говори! Чего опять смеешься?... А все-таки говори: есть бог или нет? Только

серьезно! Мне надо теперь серьезно. — Нет, нету бога. — Алеша, есть бог? — Есть бог». «Есть бог» в устах Алеши звучит не только и не столько как признание факта наличия некоего нравственного принципа, сколько как призыв к дальнейшему движению по дороге Добра, отказа от всех и всяческих привилегий и преимуществ. В устах Ивана: «Нет, нету бога», — протест против движения навстречу стремнине, грозящей личности небытием, гибелью, смертью.

А жить ведь хочется! И, что самое главное, по этому «пункту» нет расхождений между Алешей и Иваном — младший брат ни на миг не рядится в тогу человека не от мира сего, не прикидывается пустынным, с трудом влачащим дни свои и мечтающим о счастье близкого конца. Ему понятны страстные признания Ивана: «Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческого, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтить его сердцем». Алексей с полуслова понимает Ивана: «Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить».

О «новых путях», повторяю, задумываются Иван и Алеша. Младший брат, столь органично творящий добро и столь щедро в себя принимающий всеобщее страдание, «ударившийся на монастырскую дорогу, потому что она представляла идеал исхода равнейшей из мрака злобы к свету любви души его», в минуты высшего просветления «плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сняли ему из бедны». Слившись со всем сводом небесным, «соприкасаясь миром иным», он как бы вовлекается в единственный истинный ход человечества и звездных миров. Любя жизнь страстной, истовой любовью, он за «полным самоотвержением в любви к ближнему» предчувствует не гибель свою, а конец «периода человеческого уединения», начало эпохи всеобщего движения. Тогда-то и наступит, по мысли его, истинный расцвет науки, которая поможет приумножить общее достояние и общие возможности, приблизит общечеловеческое счастье. Только утвердив братство людей, можно будет утверждать свободу отношений человека с Природой, Пространством.

Иван также предвидит новые задачи человека-творца. Но они для него — не

будущее, не закономерный итог сегодняшних поисков гуманности, не венец нынешних обретений Добра, а сиюминутное убежище от «грозящей катастрофы». Попытка избежать «нависшей» гибели завтрашнего бессилия, «ловушки безжалостной судьбы». Но, склонный уже сегодня обратиться от Добра к «абсолютной» Свободе, Иван испытывает одно лишь разочарование, ощущение гнетущей безысходности. В ивановом «мыслительном эксперименте», в споре Великого Инквизитора с носителем, высших нравственных принципов все время побеждает Великий Инквизитор; он, в толковании Ивана, оказывается прав, ибо «людишки» не желают свободно и естественно подчиняться «высшему руководству», а «свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». Когда обращаются к свободному волеизъявлению, к проявлению гения человеческого, его превосходства над силами Пространства, тогда-то и убеждаются, по мысли Ивана Карамазова, в тщете человеческих усилий, в призрачности его возможностей и могущества, в его рабской природе и сущности. Такие «дебри» и «тайны» з природе открываются, а «высокие» стремления оказываются такими мелкими и ничтожно-бессильными, что, махнув рукой на «недостижимое бессмертие», люди жмутся либо в уголки жизни, либо «кубок о пол»...

«А клейкие листочки, — горестно прерывает брата Алеша, — а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь?.. С таким адом в груди и в голове разве это возможно?... Убьешь себя сам, а не выдержишь!...»

Ну, а если выдержишь, разве приблизишься к великому исходу? А почему, собственно, «великий» исход? Не проще ли и не умней ли понять, наконец, что всякий «смертен, весь, без воскресения, и принять смерть гордо и спокойно, как бог?»

Так вопрошает явившийся к Ивану «самый обыкновенный» черт, повторяя и выдавая ивановы сомнения-идеи: «Раз человечество отречется поголовно от бога, ...то само собою, без антропофагии, падает все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупаются, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастья

и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом, божеской, титанической гордости, и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая, уже без границ природу волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных». Счастье гарантируется, рождение человеко-бога обеспечивается, ежечасная победа без границ над природой «волею своею и наукой» провозглашается — новые пути формируются со всей полнотой и определенностью. Единственное, что Ивану приходится отрицать, «отрекшись от Нравственности и Гуманизма», — это мечту о бессмертии; единственное, что Ивану приходится признать окончательно, — это то, что «он смертен, весь, без воскресения». Но коли люди — «передовые, сильные, гордые» — абсолютно уверяются, — доводит Иван свою мысль до конца, — что они «смертны, без воскресения», то ради чего они станут ждать всеобщего «прозрения», всеобщего «совокупления»? И Иван отвечает: «Но так как бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и уж, конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба человека, если оно понадобится. Для бога не существует Закона!»

Но если не существует Закона, то почему безумствует Иван? Почему даже Смердяков не выдерживает бремени измученной совести? Потому, что **не может человек отбросить нравственный закон** самоотверженности и любви к ближнему своему. Потому что человеко-бог, о котором уже загадывает Иван, не иллюзорность духовного бессмертия должен выразить, а его реальность отразить и воплотить. Потому что, усомнившись в нравственном законе, провозгласив принцип независимой от него абсолютной свободы, Иван невольно, но закономерно вернулся к «философии» мещанина-эгоиста.

Но будет, будет человеко-бог, уверен Алексей Карамазов. Но будет он не «в отрыве от нравственного закона, а как его результат и конечное, окончательное утверждение в жизни. Будет, будет человеко-бог, — учил романом своим Достоевский, — когда все, кому много дано, поймут, что с них много и спрашивается...

Сегодня роман завершается здравницей Алеше: «Ура, Карамазову!» — кричат мальчики, будущие хозяева жизни и пролагатели новых путей. Сегодня они повторяют последнюю заповедь своего старшего друга: «Будем, во-первых и прежде всего, добры, потом честны, а потом — не будем никогда забывать друг о друге». И еще помнят они: «Хо-

чу пострадать за всех людей», хочу принять в сердце свое беды и печали всех людей, все они близки мне и дороги.

Кажется, разглядев внутри конфликта между застоём и движением «возможность» двух исходов, Достоевский, как воитель, утверждал необходимость самоотверженности и самоотдачи, как средства реализации высочайшей и глубочайшей человеческой исторической потребности? Да, конечно. Оттого и сливается в финале с Алешиной правдой линия «обретения» Дмитрия Карамазова. Кажется, Достоевский предвидел и завтрашний взлет создательных, творческих возможностей человеческой Личности, открытия новых путей в искусстве, науке, в отношениях с миром Природы? Да, конечно. Но предвидя будущее, он предостерегал от поспешности, от забвения нравственных законов, на твердой и естественной основе которых только и может родиться человек — абсолютный властелин Вселенной. Но само это предостережение и глубокое рассмотрение многоступенчатого, полифонического конфликта было лучшим указателем на неодолимость продвижения, приближения качественно новых исторических решений, наступления общечеловеческих перемен, торжества новых принципов борьбы и жизни человека.

3. Поэма человеческой любви

В оценке разногласий нет — все, сколько-нибудь близко знакомые с поэмой Важа Пшавела «Змееед», оказываются вовлеченными в духовные борения ее героев, в мир их страстей и самоотверженных исканий, оказываются сопряженными той жизненной и человеческой борьбе, которая, как горная Арагви, неистовствует и клокочет на страницах поэмы. В своем непосредственном, эмоциональном отношении все, или почти все, едины. «Разночтения» возникают на ином уровне — тогда, когда свое чувство приобщения к громадному материку искусства пытаются отлить в логически-строгие формы анализа, когда стремятся от общего ощущения сложности перейти к скрупулезному и детальному рассмотрению всего многообразия заключающихся в поэме внутренних связей, а от них — к той перспективе, которая манила поэта и открывалась его провидческому взору во всем этом невообразимо сложном сцеплении жизненных интересов, потребностей, человеческих привычек.

Тут, в анализе, мысль читателя, как правило, ухватывается за наиболее крупные ориентиры и именно из них выстраивает неприметно возникающую общую логическую схему. Да, соблазн, доверившись первому, казалось бы, самому сильному впечатлению, им и ограничиться — очень велик! И лишь

внутренняя неуспокоенность, какая-то продолжающаяся внутри тебя работа мысли мешает отложить в дальние тайники памяти образы героев поэмы, заставляя снова и снова возвращаться к стихам «Змеееда», принуждает, наконец, сознаться себе самому в недостаточности того первого впечатления, которое, увы, было и не единственным и не всеобъемлющим. Тогда и начинаешь еще пристальней вглядываться в основной конфликт поэмы, замечаешь множество ускользавших прежде подробностей и, что самое главное, наблюдаю две бросающиеся в глаза противоборствующие тенденции человеческого поведения, приходишь не к отвержению одной из них, а к их синтезу, слиянию в новой, высшей гармонии и цельности. Но, постойте, а не в этом ли как раз и сказывается торжество искусства, не в этом ли подлинная сила пшавеловской поэмы?!

Нам предлагают два принципа, два отношения к миру? Бесспорно, Миндия и Мзия — два полюса, две стороны конфликта. Миндия действительно мудрец и ясновидец. Важа на этот счет не оставляет никаких сомнений. Больше того, он как бы приоткрывает завесу над лабораторией своего творчества, сам рассказывает о легенде, которая послужила толчком к созданию поэмы.

«Сказание о Змеееде, — писал он, — которое я слышал и затем использовал в поэме, следующее: хевсур Миндия попадает в плен к каждам. Жизнь среди них была столь тягостной, что Миндия стал подумывать о самоубийстве. Он съел даже змеиное мясо, которым питались кажди. Но результат покусения на собственную жизнь оказался неожиданным. Миндия превратился в мудреца, которому, согласно сказанию, стал ведом язык растений. Он мог теперь слушать голос цветов, а те могли рассказать ему, от каких болезней они исцеляют».

Высшее знание Миндии подняло его на высшую ступень добра. Он не просто разумел голос природы, не просто «внимал ей равнодушно», а сострадал ей, сочувствовал, сопереживал.

Идеал Миндии широк и прекрасен. Мзия же глуха к зову того мира, который открылся змеееду во всем многоцветии и богатстве красок. Она действует активно и уверенно, но это — активность привычки и уверенность повторения. Нравственные представления ее узки и ограничены, и желание служить «ближнему своему», пренебрегая интересами «далеких незнакомец», оказывается одной из самых коротких дорог к злу и душевному страданию.

О конце ее жизни мы можем только догадываться. Змееед же в последний час своего земного существования видел, как вдали, «полнеба осветив, пылали

ближние селения», как в дом родной ворвались враги, неся опустошение и смерть. Впрочем, еще раньше Мзия поведала подруге о своем вешем сне, о том потоке, который подхватил ее с детьми, закрутил и унес навсегда. В сне Мзии оказалось много пророческого, это был, по сути, самоприговор неспокойной совести.

Мзия виновна не потому, что хотела исполнить свой материнский долг, а потому, что оказалась матерью только **своих** детей. Узость нравственных представлений не остается безнаказанной, эгоизм Мзии, как бумеранг, бьет по ее собственной семье, мужу, детям, по ее же жизни.

Добро и доброта в таком контакте — не только не ставятся под сомнение, но и не обсуждаются. Они — та данность, которая, подобно Правде в древней трагедии, проверяет все человеческие решения и действия и отступления от которой с роковой неизбежностью наказываются страданием и гибелью.

Таков первый, наиболее резко бросающийся в глаза урок поэмы. Но он оказывается явно схематичным, когда мы вновь обращаемся к «Змеееду», когда с большей пронизательностью приглядываемся к его героям, когда, наконец, больше доверяем создателю поэмы. В самом деле, неужто Мзия «нужна» только для объяснения падения и смерти Миндии?! Неужто и тени сомнения не возникает, когда мы слышим гневные обвинения Змеееда?

Нет, ты одна во всем повинна!
Не ты ль кричала мне чуть свет:
«Дрожай от холода детишки,
Ни щепки дров в такой мороз!»

Тяжелы обвинения Миндии, но многое в них заставляет призадуматься. Искренни самооправдания Мзии, но и ее ведь гложет тоска:

Коль нет греха в душе моей,
Так мне ль страшиться наказанья?

Мзии причины собственных мук неведомы. Но нам-то они известны.

А Миндия, в чем он повинен? Ведь в душе Миндии поселился весь мир! Ведь идеал его широк и прекрасен!

Вернувшись из плена, Миндия женится, создает семью, у него рождаются дети, о которых надо заботиться. Он вынужден идти в лес и рубить деревья, хотя слышит их стоны и жалобы, он должен снова охотиться на зверей, чтобы в котле у него не переводилось мясо, хотя и отзывается каждый выстрел в сердце его скорбью и болью (всего этого, кстати, не было в народной легенде).

Миндия предвидит все последствия своего «отступничества» — и жестокость душевных мук («Кто я? Бесчувственное тело! Одно страданье мне к

лицу»), и собственную грядущую беспомощность перед лицом врага («Чем помогу теперь отчизне, как послужу стране родной?»). Миндия не ошибаясь, **В битве с врагами** не мог, он больше управлять хевсурским войском, и впервые пришлось изведать ему всю горечь поражения. Самоубийство Миндии — черта подо всей его жизнью, цена, расплата совести за измену собственным принципам нравственности. Наказание к нему приходит с такой же неотвратимостью, как и к Мзии. Но наказание — не только гибель физическая, это и душевные муки. Миндия страдал с первых же дней возвращения из плена. Вот собственный рассказ Миндии о первой его жатве в родном селе:

Колосья без толку хватаю,
Топчу ногами урожай,
И так я весь изнемогаю,
Что хоть водою отливай.

Случайное признание? Обмолвка? Нет, нечто большее — неспособность истинного служения огромному открывшемуся миру. Сострадать боли деревьев Миндия научился, отказаться от охоты на горных туров — сумел. А вот активно помочь природе жить и развиваться — еще по-настоящему не может. Нравственность, видимо, предписывает личности законы сочувствия и сострадания далеко не однотонно, не метафизически однозначно. В воплощении Добра есть своя логика и свои установления. От прямых предупреждений и запрещений путь пролегает, несомненно, к росту активности личности, «обязанной» не только «не зариться на чужое», но и «по-братски делиться своим достоянием», а затем и стремиться к творческому приумножению общественного богатства. Иначе и быть не может, ибо трудно, а то и вовсе невозможно «луковкой малой» (как говорил Достоевский) утереть слезы всем несчастным детям, накормить всех страждущих и обездоленных. Здесь-то и следует, бесспорно, искать объяснение второму, глубокому, скрытому от поверхностного взгляда конфликту поэмы. Вернее, конфликту в конфликте.

В одной из статей Важа Пшавела мы находим такие строки: «Представив себе время, когда исчезнет надобность в сострадании, когда никто в этом мире не будет нуждаться в милосердии, что же тогда будет представлять собой человеческое общество, да и сам человек? Было бы хорошо достигнуть такого положения, но тогда для меня умерло бы множество представлений, которые я люблю больше жизни». Вот первый конфликт поэмы. А вот его продолжение: «Но вернее и истиннее всего того, что я выше сказал, мысль, которую я сейчас выскажу. Я подумал, что любовь намного выше жалости. Жалость — чув-

ство, которое в какой-то степени предполагает рабские отношения. Какое я имею право жалеть кого-нибудь, когда я, возможно, сам заслуживаю жалости. Разве жалость не означает, что я считаю себя господином, а вот тебя, несчастного, рабом? Кто обычно жалеет другого? Тот, кто считает себя счастливее того, кого он жалеет и кому выказывает милосердие. Дай бог, чтобы в будущем вместо жалости господствовала любовь и грядущий певец воспевал бы только любовь. Но сегодня мы пока еще живем и дышим чувством жалости, так как многие нуждаются в нем. Мы жалеем их и, поскольку жалеем, постольку не любим».

Без доброты нет для Важа и любви. Сколько бы ни вслушивался он в пронзительно-искреннее самооправдание Мзии, он не дарует ей душевного покоя и счастья. Он, может быть, и поймет, но не примет, никогда не примет измену Миндии его великому знанию. В самоотверженном искании связей, в тяге к Добру виделся Важа-поэту и мудрецу наинадежнейший исход от мук и страданий окружающей жизни, в забвении же заповедей милосердия он ясно разглядел торжество зла и бесчеловечности. Отвержение, ниспровержение Добра есть зло, и потому так резка, рельефна, бескомпромиссна основная линия поэмы, ее главный конфликт, сразу властно овладевающий сознанием читателя.

Но способность к самоотдаче и самоотвержению в сострадании и сочувствии — не единственное, из чего складывается любовь. В статьях, написанных после революции 1905 года, Важа Пшавела прямо назвал и этот второй вектор любви: «Свобода возможна и необходима для живых, но не для мертвых. Она проявляется в желаниях и стремлениях человека, свобода — это действие: осуществление желания, мысли, чувства, но не покой, не бездействие. Свобода личности и свобода нации, народа, тесно связаны друг с другом: где не свободна личность, там угнетена и поработана нация, а в поработанном обществе поработана и личность. Личность в таком обществе является игрушкой, вещью в руках поработителей».

К мыслям этим Важа Пшавела отныне возвращается вновь и вновь. За пятнадцатилетие, что разделяет две процитированные мною статьи, многое изменилось в жизни, да и в сознании поэта. Неизменным оставалось лишь его утверждение Любви — неразрывности Добра и Свободы. Именно неразрывности этих двух ипостасей человеческого символа веры.

Большому искусству неведом ригоризм. И когда принцип милосердия, жалости, сострадания, когда активность

доброты грозит смениться пассивным наблюдением за страданием людей, «глубелью пустынного», когда самоотверженность грозит принести окружающим уже не радость, а новые муки, и свобода, ни на миг не отворачиваясь от прежнего принципа, от потребности Добра, открывает новый дополнительный путь — грядущей высокой Свободе и утверждает нерасторжимость двух сторон Любви, развития человеческого духа. В орбиту художественного творчества вовлекается новый конфликт, который звучит сперва чуть слышно, под сурдинку, потом заявляет о себе все более и более полнозвучно. Полифония не разрушает цельности произведения, параллелизм конфликтов подчиняется неэвклидовой геометрии, и конфликты сливаются в дальней дали Любви. Обе стороны ее — в конкретности бытия — оказываются не взаимозаменяемыми, а взаимозависимыми. Свобода открывает ширь Добра, а Доброта влечет к новой Свободе.

«Змееед» и был одной из самых ярких вех на этой горней тропе человеческих исканий и жизнотворчества.

Поэма властно захватила в свое стремительное течение оба потока — устремленность к добру и свободе, резко обозначила современную меру их соотношения, сопряжения, соподчинения, раскрыла истинный, глубинный смысл людских чаяний — открыла быструю, неудержимо стремившуюся к Любви и Красоте.

Важа Пшавела, один из последних эпиков в грузинской литературе прошлого столетия, не только продолжил песнь страдания, но и принес песнь свободы. За поэмой его стоял целый мир человеческих борений и страстей, тот перелом века, за которым провидческому взору виделась и близкая революция, и новые высоты человеческого счастья.

4.

Между романом «Братья Карамазовы» и поэмой «Змееед» пролегают пути России и Грузии всего в два десятилетия. Но какие это были десятилетия! Судить о них с необыкновенной ясностью и наглядностью можно по двум гениальным творениям Достоевского и Важа Пшавела, по тому развороту «конфликта в конфликте», по тому нарастанию и выдвиганию на первый план идей Любви и Свободы, которые отчетливо проступают при последовательном чтении романа и поэмы.

А в вечной силе их и в непреходящей их цельности — проявление величайшей способности художника быть вместилищем всех чаяний и надежд человеческих, «уловителем» всех близких и далеких гулов эпохи.

Георгий ЦИЦИШВИЛИ

НЕКРАСОВ И ГРУЗИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

В одной из статей, предназначенных для опубликования в прогрессивной тбилисской газете «Новое обозрение», но запрещенной царской цензурой в 90-х годах прошлого века, говорилось: «Идея исправления двухвековой неправды, глубокая преданность интересам народа сосредоточилась именно в среде интеллигенции, в среде, воспитанной нашей литературой». Это была верная и глубокая мысль; именно передовая русская литература вносила боевой дух в то историческое общественное движение, которое связано с деятельностью великих русских революционных демократов.

Но литература была не только прародительницей этого могучего потока во всей духовной деятельности русского общества середины прошлого века, но и тем могучим средством идейного воспитания и нравственного совершенствования, которое подняло это общество на высшую ступень человеческого прогресса.

Среди мыслителей и художников, деятельность которых сыграла всемирно-историческую роль в общественном развитии всех народов, одним из первых по справедливости называют имя великого русского поэта, негибаемого глашатая народной свободы — Николая Алексеевича Некрасова.

Некрасов — истинный герой, отдавший всего себя, весь свой талант, все свои редкие способности служению народу, делу его свободы, его беспрепятственного развития.

Несмотря на суровую жизненную долю, этого могучего столпа русской революционной демократии можно считать счастливейшим человеком: никто до него не имел счастья так полно и так явственно испытать горячую любовь и глубочайшее уважение трудящегося люда, всего пробуждающегося трудового народа, всей прогрессивной России.

Это было нечто новое. Это было проявление идейной солидарности, результат пробуждения самосознания народа, выражение качественно нового отношения демократической интеллигенции к своему вожаку, свидетельство начала революционизирования широких масс.

Некрасов принадлежал к числу великих людей не только своего народа, но и всей эпохи — эпохи новых всемирно-исторических свершений, ожесточенных идейных битв, осмысленной политической борьбы, научного прогресса и замечательных достижений в искусстве и литературе.

Именно поэтому в многоголосом хоре, славящем великого поэта и великого гражданина, был слышен не только миллионный голос родного ему русского народа, гений которого породил и вскормил не одного богатыря мысли и свободы, но и голоса всех народов, населяющих бывшую Российскую империю, всех народов, имевших культурно-литературное общение с русским народом.

Грузия, связанная с Россией теснейшими узами общественного развития, находившаяся с начала XIX века в совершенно однородных с ней социально-экономических и государственно-политических условиях, имела возможность незамедлительно знакомиться со всеми новыми веяниями в русской общественной жизни. Грузия, как и многие другие братские народы, связанные с Россией волею исторических судеб, вместе с ней выстрадала все достижения общественной мысли; это была долгая, тяжкая, бескомпромиссная борьба человеческой воли и разума со злом и неправдой.

Эта ожесточенная борьба за прогресс и справедливое усовершенствование жизни спаяла народы, духовно сблизила их, связав нерасторжимыми узами дружбы. Поэтому каждому из наших народов были святы имена великих сынов любого народа, любой национальности, деятельность которых облегчала участь страждущих и обездоленных, помогала им найти путь к истине, напутствовала на справедливую борьбу.

Именно такой фигурой был для всей демократической Грузии Николай Алексеевич Некрасов, и смело можно сказать, что мало кто пользовался среди передовой грузинской общественности такой славой, авторитетом и искренней любовью, как он.

С именем Некрасова грузинская общественность познакомилась на рубеже сороковых и пятидесятих годов прошлого столетия. Это произошло благодаря петербургским и московским журналам и газетам, имевшим широкое распространение в Тбилиси, а также благодаря периодической прессе Грузии (издававшейся как на грузинском, так и на русском языках). Немаловажную роль в этом сыграли и студенты-грузины, обучавшиеся в высших учебных заведениях России. В результате уже к началу пятидесятих годов прошлого века и в особенности к концу этого десятилетия имя Некрасова стало в Грузии широко известным и на редкость популярным.

Не случайно, например, некоторые стихи И. Чавчавадзе и А. Церетели, отличающиеся публицистической и сатирической заостренностью, столь созвучны поэтическим произведениям Некрасова, созданным им в сороковых и пятидесятих годах минувшего столетия. Чувствуется также идейно-тематическая близость антикрепостнических произведений Некрасова и поэзии грузинских шестидесятников.

Но царское самодержавие, всячески старавшееся предохранить «инородцев» и в особенности «мятежные», как оно называло, народы Кавказа от пагубного влияния «революционной крамолы», принимало активные меры против распространения произведений Некрасова. В этом отношении чрезвычайно показателен секретный циркуляр департамента полиции от 19 декабря 1856 года, в котором со ссылкой на представление министра народного просвещения предписывалось, «...чтобы отпечатанная недавно в Москве книга под заглавием «Стихотворения Н. Некрасова» не была дозволена к новому изданию и чтобы не разрешались к печати ни статьи, касающиеся сей книги, ни, в особенности, выписки из оной».

Этот циркуляр, так же как секретное указание наместника Кавказа, разосланное на основании указанного выше документа во все губернии Кавказского края и, в частности, тифлисскому и кутаисскому губернаторам, стал серьезной помехой для распространения произведений Некрасова в Грузии. Царские власти всячески старались помешать ознакомлению грузинской общественности с революционизирующим творчеством русского поэта, но попытки их оказались тщетными: стихи и поэмы Некрасова расходились среди грузинской интеллигенции в сотнях рукописей, из рук в руки передавались также и русские издания с произведениями Некрасова.

Как отмечалось выше, в распространении некрасовских стихов особую роль сыграли многочисленные студенты-грузины, обучавшиеся в Петербурге, Москве, Тарту, Киеве и других городах России. В результате особого интереса к творчеству Некрасова прогрессивная грузинская интеллигенция знала не только все произведения, выходящие из-под пера любимого писателя, но и все, что писалось о нем.

Тем не менее из-за запрета, наложенного царскими властями на печатание некрасовских произведений, имя великого поэта не появлялось в передовой печати Грузии вплоть до 1861 года, и лишь после этого, благодаря настоятельным действиям грузинских революционных демократов, а немного позже и грузинских народников, стихотворения Некрасова и статьи о них начали систематически проникать в грузинскую прессу.

Распространение произведений Некрасова в Грузии сопровождалось здесь ростом и расширением освободительной борьбы. И если неуклонно обострявшаяся революционная обстановка способствовала проникновению в народные массы мобилизующей их некрасовской поэзии, то, с другой стороны, произведения Некрасова являлись лучшим стимулом для интенсификации антикрепостнической борьбы, для усиления революционно-демократического движения.

В 1861 году в грузинском журнале «Цискари» (издание этого журнала было возобновлено в 1957 году) был напечатан перевод некрасовского стихотворения «Внимая ужасам войны»¹, выполненный одним из известнейших грузинских шестидесятников, последователем русских революционных демократов, выдающимся писателем и общественным деятелем, одним из самых радикальных демократов Антоном Пурцеладзе (1839—1913 гг.).

В 1864 году видный представитель «могучей кучки» грузинских шестидесятников, известный писатель и общественный деятель Кирилэ Лордкипанидзе опубликовал в редактируемом им сборнике «Чонгури» перевод стихотворения Некрасова «Поэт и гражданин»².

Факт опубликования в сборнике оригинальных произведений грузинских поэтов, стихотворения, сыгравшие роль литературного манифеста русской революционной демократии—явление многозначительное и характерное. Этим как

¹ Журнал «Цискари», на груз. яз., 1861 г., № 11.

² Журнал «Цискари», 1867 г., № 1.

бы подчеркивалось, что замечательное некрасовское произведение является программным и для грузинской литературы. В том же 1864 году в сборнике «Чонгури» был напечатан перевод и второго стихотворения Некрасова «Что ни год уменьшаются силы» (которое и на русском языке было впервые опубликовано в том же 1864 году).

В 1866 году в журнале «Цискари» А. Пурцеладзе опубликовал перевод замечательного стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Переводчику удалось сохранить идейное звучание, социальную заостренность и изумительную обличающую силу этого стихотворения, всколыхнувшего всю грузинскую общественность. В одном из откликов на это выдающееся творение русского поэта, напечатанном в грузинской газете «Дроэба» в 1867 году, говорилось: «...Не можем не выразить одобрения по поводу перевода стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда», и если кто не читал его по-русски или по-грузински, советуем прочесть его. В этом скорбном, заставляющем глубоко задуматься стихотворении выражается печаль обездоленных и угнетенных людей. Это произведение, как и другие творения Некрасова, высоко ценит каждый русский, питающий истинную и глубоко осознанную любовь к своему отечеству».

После 1868 года число переводов некрасовских произведений заметно возросло. В рядах переводчиков мы видим одного из замечательных публицистов Грузии, виднейшего деятеля грузинской периодической прессы Сергея Месхи, его брата — известного литератора И. Месхи, широкоизвестного писателя и передового общественного деятеля Петра Умикашвили и других.

К концу шестидесятых — началу семидесятых годов XIX века относятся грузинские переводы двух некрасовских стихотворений — «Родина» (впервые опубликовано в 1856 году) и «Песня Еремушке» (впервые опубликовано в 1859 году), принадлежащие перу известного грузинского прогрессивного поэта, одного из последователей Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели — Мамия Гуриели (1836 — 1891 гг.). Выбор для перевода именно этих произведений, то есть «Родины», которая в свое время привела в восторг В. Белинского и в котором он увидел смелый социальный протест, так же как и в «Песне Еремушке», которая стала боевым лозунгом молодого демократического поколения, — не случаен. Мамия Гуриели, как и другие грузинские переводчики, подбирая для перевода именно те из произведений Некрасова, которые лучше и ярче выражали протест против существующих социальных устоев.

Большой общественный и литературный резонанс имело опубликование грузинских переводов некрасовского «Нравственного человека», «Маши» и других его стихотворений.

Переводы эти печатались в прогрессивных газетах «Дроэба» («Время»), «Сасопло газети» («Сельская газета»), в сборниках, альманахах, журналах.

Статьи о Некрасове, отклики на его произведения публиковались в самых авторитетных изданиях Грузии — в газете «Иверия», которую редактировал Илья Чавчавадзе, в газете «Обзор», которой руководил Н. Николадзе, в журнале «Цискари», в альманахе «Кребули» и других.

В восьмидесятых годах прошлого века, несмотря на все старания, усилившаяся реакция не смогла помешать проникновению в грузинскую прессу переводов «вольнодумных» произведений великого русского поэта. Архивные материалы Кавказского цензурного комитета¹ свидетельствуют о том, что цензура запретила множество материалов, связанных с именем Некрасова, в том числе несколько статей Н. Николадзе.

Начиная с девяностых годов XIX столетия в связи с подъемом революционного движения и в особенности в период подготовки и проведения буржуазно-демократической революции 1905—1907 годов интерес к творчеству Н. А. Некрасова еще более возрастает и имя его чаще стало появляться на страницах грузинской печати.

Именно к этому времени относится знаменательный факт перевода некрасовских стихов одним из знаменосцев революционно-демократического течения в Грузии поэтом-революционером, классиком грузинской литературы конца XIX и начала XX века Иродионом Евдошвили. Пламенный поэт-революционер, чьи стихи распевались, как призывные песни на баррикадах во время боев 1905—1907 годов, И. Евдошвили перевел несколько стихотворений Н. А. Некрасова. По своим художественным качествам эти переводы представляют собой новый этап в переводческом деле, являются наиболее близкими к оригиналу, наиболее высокохудожественными среди всего того, что было сделано до этого.

¹ См. по этому вопросу статью Б. А. Пирадова «Кавказская цензура и Некрасов».

Одним словом, передовая пресса Грузии и ее лучшие деятели приложили много сил и проявили большую смелость, чтобы познакомить грузинскую общественность и местные читательские массы с произведениями Некрасова как путем печатания переводов этих произведений, так и опубликованием русских статей о творчестве поэта.

Иногда грузинские деятели привлекали с этой целью передовых русских писателей. С большим интересом была, например, встречена замечательная статья выдающегося русского писателя Глеба Успенского о Некрасове, которую заказал редактор и издатель тбилисской газеты «Обзор» Нико Николадзе. В этой статье, опубликованной в 1878 году¹, великий русский поэт оценивается как один из столпов революционно-демократического движения и неустрашимый трибун трудового народа. «Некрасов — наискреннейший выразитель сущности русской души, — писал Г. Успенский, — страстной, жаждущей жизни... рвущейся... на волю, к свету, к правде... Это русский человек, весь как на ладони и к тому же громадный и именно русский поэт»².

Творчество Некрасова с его ярко выраженным свободолобием, пафосом борьбы, высокой идейностью и смелым протестантизмом обогатило грузинских шестидесятников как в идейном, так и художественном отношении.

Грузинская критика еще в начале нынешнего века отметила исключительное созвучие между наиболее значительными произведениями великого русского поэта и творчеством вождей народно-освободительной борьбы грузинского народа, его классиков — Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели.

Действительно, ряд художественных произведений Ильи Чавчавадзе во многом перекликается с известными стихотворениями Н. Некрасова. Так, например, чувствуется безусловная идейно-тематическая близость между некрасовским «Поэтом и гражданином» и чавчавадзевским «Поэтом» — этим программным стихотворением для всей грузинской прогрессивной литературы, так же как и между некрасовским «Пахарем» и «Муша» Чавчавадзе. Исследователями правильно подчеркнута большая внутренняя близость поэтических произведений Ильи Чавчавадзе к творениям Некрасова, к примеру, отдельных глав наиболее значительной по своему идейному содержанию поэмы «Видения» (особенно ее XIII — XIV главы) к «Песне Еремушке» Некрасова. Такой же не случайной близостью к некрасовским мотивам отмечено стихотворение Ильи Чавчавадзе «Рабочий», являющееся этапным в творчестве великого грузинского поэта. Знаменательно, что И. Чавчавадзе эпиграфом к своему стихотворению предпослал некрасовские строки: «В труде проходит жизнь его и не приносит ничего».

Перекликается также «Имеретинская колыбельная» другого крупного поэта Грузии А. Церетели со стихотворениями Некрасова «Свобода» и «Колыбельная песня». Это та самая «Колыбельная песня», о которой в секретном циркуляре министерства просвещения между прочим говорилось: «Стоит их (т. е. строки стихотворения Некрасова. — Г. Ц.) только прочесть, чтобы убедиться, что допускать их к печати не следовало. Такова, между прочим, «Колыбельная песня»³.

Недаром еще в прошлом веке Н. Николадзе писал: «Исследователи находят особенно много созвучий, общих политических и социальных мотивов в стихах Н. Некрасова и А. Церетели. Действительно, бросается в глаза общность мотивов в стихотворении русского поэта «Свобода» и «Имеретинской колыбельной» А. Церетели»⁴.

Имя Некрасова пользовалось исключительной популярностью. Поэта искренне любили и чистосердечно превозносили не только за проникнутые высокой идейностью, народностью и гуманизмом стихотворения, согретые состраданием к обездоленным, но и как одного из кормчих «Современника» и «Отечественных записок», человека кристальной чистоты, благороднейшего рыцаря своей эпохи. Сколько грузинских деятелей восторгались Некрасовым, обвороженные его личностью, поклонялись его таланту, восхищались его деятельностью.

«Теперешнее поколение даже не может себе представить, — писал в восьмидесятых годах прошлого века один из известнейших грузинских общественных и литературных деятелей Яков Мансвешавили, — ...чем был для нас Некрасов? Вся молодежь, вся интеллигенция были увлечены его стихотворениями».

Великий грузинский писатель, знаменосец революционно-освободительного движения в Грузии Илья Чавчавадзе считал творчество Некрасова ярчайшим явлением не только в литературе, но и во всей духовной жизни России, а

¹ Статья опубликована под псевдонимом Г. — «В».

² Газета «Обзор», 1878 г., № 27.

³ ЦГИА СССР, ФДП—00, оп. 5, 1856, д. 6115, лист 120.

⁴ Это стихотворение впервые опубликовано в 1864 году в журн. «Цискари».

самого Некрасова, деяниями и подвижнической жизнью которого он восторгался, одним из самых выдающихся сынов русского народа.

В статьях, опубликованных в газете «Иверия», издаваемой Ильей Чавчавадзе, говорится, что Некрасов благодаря своему целенаправленному творчеству занимал в русской литературе «...такое место, как ни один другой русский поэт».

По мнению Ильи Чавчавадзе, лучшие стихотворения Некрасова «возымели огромное воздействие не только на российскую молодежь того времени, но и на грузинскую молодежь». Особо следует подчеркнуть слова, принадлежащие Илье: «Подражателей поэту народного горя оказалось много как в русской, так и грузинской литературе» (эти слова относятся к 1878 году)¹. Илья сохранил любовь и глубочайшее уважение к Некрасову на протяжении всей своей жизни.

Выступая против некоторых ретроградов, которые старались в какой-то мере умалить значение некрасовской поэзии, Сумбаташвили-Южин, выдающийся деятель русской сцены, теснейшим образом связанный с грузинской действительностью, писал: «Все толки о том, что публицист в нем затмевал поэта, что его идеи брали верх над образами и лишали их поэтического вдохновения... казались и кажутся просто одной из разновидностей критических клевет, в которые попадало и попадает всякое самобитное и сильное дарование».

Трудно было бы мне назвать другого поэта, кроме В. Гюго, в котором гражданин проявлялся бы с большей яркостью. Но разве дерзнет кто-нибудь сказать, что В. Гюго не поэт? Про Некрасова же, как про «своего», «домашнего», — дерзают с легким сердцем, забывая или не зная, как мальчишки 10—12 лет в конце шестидесятых годов навзрыд рыдали над его «Рыцарем на час», над его «Парадным подъездом», затверживали наизусть «Песню Еремашке». Если он не поэт, и такой, который века переживает, — то я не понимаю, какой смысл иметь поэтов?»².

Таким же искренним почитателем Некрасова был и выдающийся деятель национальной литературы, один из вождей народно-освободительной борьбы грузинского народа Акакий Церетели, который не только прекрасно знал все творчество великого русского поэта, но и испытал благотворное влияние его поэзии, полной пафоса гражданственности и сострадания к угнетенным.

В знак своего глубочайшего уважения к замечательному русскому поэту и гражданину Акакий Церетели участвовал в похоронах Некрасова и с большим душевным волнением описал эти похороны, превратившиеся во всенародную манифестацию, в демонстрацию против царизма, против угнетения народов. Статья Акакия Церетели была напечатана в одной из тбилисских газет. Акакий Церетели особо подчеркивает выступление Достоевского и его слова о том, что Некрасова следует поставить рядом с Пушкиным и Лермонтовым.

Настроение передовой грузинской общественности в связи с кончиной Н. А. Некрасова хорошо выразила тбилисская газета «Новое обозрение», редактируемая Н. Николадзе. В специальном отклике этой газеты говорилось: «Смерть Некрасова отозвалась резким поворотом в течении русской поэзии. Певец народной скорби, вдохновенный жрец «музы мести и печали», он почти четверть века был влиятельнейшим представителем русского стиха... Прошло время, многие поэты позабыты. Один Некрасов сохранил за собою привилегию быть не только читаемым, но и уважаемым и любимым... Причина некрасовского влияния таится далеко не в исключительной яркой тенденциозности его таланта: немалую роль в данном случае сыграла и пылкая, неудержимая, молодая страстность... так гармонировавшая с настроением эпохи больших порывов. В России поэтов было много, но ни у кого из них стих не выливался из такой пламенно убежденной души, как у Некрасова, — и они умирали, а он живет и будет долго жить»³.

Грузинская интеллигенция, в особенности молодежь, зачитывалась Некрасовым. Это хорошо видно из воспоминаний одного из известных писателей второй половины прошлого века Георгия Чаладидели, опубликованных в начале XX века: «Сейчас одиннадцать часов ночи, — писал в своем дневнике 27 октября 1873 года Чаладидели, — и я как раз кончил читать сочинение Некрасова «Русские женщины»⁴. Какая прелестная вещь! Какие перемены вызыва-

¹ Газета «Иверия», 1878, № 2. Текст дается по «Летописи дружбы», том I, 1967, Тбилиси. Издательство «Литература да хеловнеба».

² Центральный гос. архив литературы и искусства СССР, фонд 878, опись № 1, единица хран. 230. Цитируется по статье Ир. Хоперия, см. «Литературная Грузия» за 1969 год, № 9—10, стр. 150—151.

³ Газета «Новое обозрение», 1878, 17 января.

⁴ «Отечественные записки», 1873, январь.

ет в человеческом сердце это некрасовское сочинение! Поэзия, какое у тебя могущество! Эта написанная на десяти страницах поэма лучше некоторых многотомных романов»¹.

Эти строки значительны и с другой точки зрения, они, как и ряд других документов, свидетельствуют, что с произведениями Некрасова передовой грузинская общественность знакомилась почти одновременно с русской. Как видно из вышеприведенной записи, относящейся к октябрю 1873 года, она уже была знакома с «Русскими женщинами» (подразумевается поэма «Княгиня Волконская»). Эта часть впервые была опубликована на девять месяцев раньше, то есть в январской книге «Отечественных записок» за 1873 год.

Преданнейшим поклонником музыки Некрасова был и один из крупнейших грузинских поэтов Важа Пшавела, который еще с ученической скамьи был знаком с творчеством великого русского поэта, а став студентом Петербургского университета, еще более углубил свои знания в этой области. Друзья и близкие Важа Пшавела не раз отмечали, что Важа очень любил некрасовские поэмы, часто говорил о них и наизусть читал отрывки, в особенности из «Русских женщин».

Большое влияние оказало творчество Некрасова на грузинских писателей-народников, которые сами не раз отмечали это. Один из столпов грузинской литературы народнического толка Нико Ломоури писал, что его идейным вдохновителем был Некрасов. То же самое можно сказать и о других крупных представителях этого литературного течения, в частности о Софроне Мгалоблишвили и Екатерине Габашвили. В своих воспоминаниях С. Мгалоблишвили пишет, что в начале шестидесятих годов минувшего столетия в Тифлисской духовной семинарии у учеников имелись почти все номера «Современника», стихи Некрасова, сочинения Белинского, Чернышевского, Добролюбова и некоторые номера «Колокола»².

Когда мы говорим о глубокой любви и исключительном уважении передовой грузинской общественности к Некрасову, следует отметить, что эта любовь была порождена не только бессмертным творчеством большого русского поэта, но и той выдающейся ролью, которую он играл в превращении «Современника» и «Отечественных записок» в рупор новых идей, в боевые органы русской революционной демократии.

Илья Чавчавадзе неизменно подчеркивает историческое значение некрасовского «Современника» для общественной жизни России. Илья писал: «Пробужденная Россия увидела, что причина ее болезни кроется в самом ее жизненном строе, раз и навсегда заведенном и узаконенном без всякого обновления. Она отвергла этот строй, отвергла все, что помогало и утверждало этот строй. Идея отрицания существующего возникла в той части передового общества, которую составляют мыслящие люди и которая, всегда и во всем являясь утешением и надеждой каждого народа, становится во главе всех полезных начинаний. Именно такое общество осуществляло крупнейшее дело отрицания существующего правопорядка. В каждом деянии этого общества либо осуждается все старое и отжившее, либо проповедуется зарождающееся, новое.

Все лучшие представители творческой интеллигенции в литературе, науке или публицистике были неутомимыми последователями этого великого дела. Благодаря их незабываемым усилиям смелое дело отрицания старого и отрицающего широко распространилось по всей России и крепко утвердилось на жизненном поприще. Кормчим этого нового направления был славный «Современник»³.

Следует отметить, что два замечательных журнала «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии», 1863) и «Иверия» (1877 — 1885), основанные Илей Чавчавадзе, сыгравшие исключительную роль в общественно-политической и литературно-художественной жизни Грузии, перекликались с некрасовским журналом. Более того, они были задуманы наподобие «Современника», и Илью Чавчавадзе не раз укоряли в том, что его «Вестник Грузии» ридился в платье «Современника».

Выдающийся грузинский публицист и общественный деятель, сотрудник герценовского «Колокола» и некрасовского «Современника», один из славных грузинских шестидесятников Нико Николадзе писал: «Если бы ты только знал, читатель, какое это было время, с каким нетерпением ждали мы, молодые, того счастливого дня, когда выходил новый номер любимого журнала (т. е. «Современника»). — Г. Ц.), с каким восторгом и поспешностью, с какой жадно-

¹ Сочинения Георгия Чаладидели, Кутаиси, 1913, на груз. яз., стр. 194.

² С. Мгалоблишвили, Воспоминания, Тбилиси, 1938, на груз. яз., стр. 146.

³ И. Чавчавадзе, Полн. собр. соч., на груз. языке, том V, Госиздат Грузии, 1965, Тбилиси, стр. 88.

стью и неутомимостью приступали мы к его чтению, как бились тогда наши сердца, кипели чувства, пылал мозг! Сколько длинных, нескончаемых северных зимних ночей провели мы за его чтением, обсуждая его мысли, оценивая слова, споря о них, и сколько последующих ночей нас мучило, беспокоило волнение тех чувств, работа тех мыслей, которые вызвал в нас этот журнал!

Совершенно очевидно, что в условиях дореволюционного прошлого, в эпоху существования двух культур в каждой национальной культуре отношение к Некрасову в Грузии, как и везде, было двойным. Вместе с прогрессивной революционно-демократической оценкой его творчества существовала и отрицательная оценка, исходившая из реакционных и антидемократических кругов.

Реакционные круги и аполитично настроенная часть грузинской интеллигенции, видя силу воздействия некрасовской поэзии на массы и правильно усматривая в ней опасность для существующего правопорядка, всячески старались умалить ее достоинства, как, якобы, художественно неполноценной и ущербной.

В этом же духе старались действовать и некоторые критики, высмеивавшие народность Некрасова и старавшиеся выхолостить из его произведений социальный антирепрессивный пафос, демократический дух и те устремления, которые, по их мнению, способствовали революционизированию народных масс.

Но труды их оказались тщетными, прогрессивная и революционно-демократическая критика в лице Н. Николадзе, Я. Исарлишвили, К. Лордкипанидзе, Вис. Гогоберидзе, Романоза Хомлели, И. Гомартели, И. Вартагава, Симона Хундадзе и многих других уже в конце XIX и в начале XX века со всей очевидностью сумела раскрыть грузинскому читателю роль и значение некрасовских произведений, величие и идейно-художественную ценность его творчества.

В советский период интерес к Н. А. Некрасову еще более возрос. Для грузинской советской общественности творчество великого русского поэта стало неотъемлемой частью того бессмертного классического наследия, которое послужило основой создания социалистической культуры и литературы.

Резко возросло не только число переводов некрасовских произведений, но и художественный уровень переводов, которые стали намного ближе к оригиналу и в то же время больше соответствуют возросшему уровню современного грузинского стихосложения.

Среди переводчиков Некрасова на грузинский язык много прославленных мастеров современной грузинской советской поэзии. Особо следует отметить переводческую работу таких известных поэтов, как Алио Мирцхулава, Валериян Гаприндашвили, Ражден Гветадзе, Константинэ Чичинадзе, Сандро Эули, Григол Цецхладзе, Сико Пашалишвили, Виктор Габискирия, Серго Горгадзе, Харитон Вардошвили, Мурман Лебанидзе, Мухран Мачавариани, Нодар Гурешидзе. Особенно плодотворна переводческая деятельность Мурмана Лебанидзе и Григола Цецхладзе.

Грузинская критика и литературоведение посвятили творчеству Н. А. Некрасова, так же как и вопросам отношения грузинской общественности к его творчеству, проблеме влияния некрасовских стихотворений на грузинских поэтов, ряд статей, очерков, исследований. Из литературоведов, работавших и работающих в этой области, необходимо назвать имена Анны Каландадзе, Георгия Талиашвили, Вано Шадури, Елены Чарквиани, Отара Лордкипанидзе, Серги Даниелия, Левана Асатиани, Лавросия Каландадзе, Амберки Гачечиладзе, Эремиа Карелашвили, Александра Буртикашвили, Ивана Ениколопова, Вано Цулукидзе, Ираклия Хоперия, Шота Куридзе, Васо Горгадзе, Нани Гвинеладзе, Коста Медзвелия, Соломона Хуцишвили и некоторых других.

Уже этот довольно длинный перечень имен, среди которых много известных исследователей и критиков, говорит о большом интересе к Н. А. Некрасову со стороны грузинской литературной общественности.

Следует отметить, что только в послевоенный период на грузинском языке выпущено пять сборников стихотворений Некрасова. Несколько десятков раз его произведения издавались либо отдельно (серия «одного произведения»), либо вносились в разные сборники и альманахи (например «Антология русской поэзии», «Русские поэты», «Русские классики» и т. д.).

Воистину бессмертное творчество Н. А. Некрасова явилось исторической ступенью в идейном и художественном развитии, поднявшей самосознание трудящегося народа на необходимую высоту и активно способствовавшей тому великому освободительному движению, которое в конечном счете привело русский народ, все наши братские народы к высотам сегодняшней социалистической действительности.

¹ Н. Николадзе, Воспоминания «Виденное и слышанное», журнал «Кребули», 1873, № 4, стр. 151—152.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ» ЗА 1971 ГОД

ПОЭЗИЯ

- Г. Абашидзе.** Русскому поэту. Нерль. V, 18.
Вечно в доспехах. VI, 6.
- А. Адамия.** Первый поэт. Кто-то один, а другие — вдвоем. I, 5.
Баллада о любви и смерти. IX, 20.
- Е. Аксельрод.** Стекло под ветром дребезжало... VII, 33.
- М. Бараташвили.** Леся, III, 12. Ожидание. V, 19. Разговор. VI, 11.
- А. Беридзе.** У памятника Пушкину. Свет и воздух... Как мудро все устроено на свете... Земле обетованной. VII, 32.
- Д. Беридзе.** Память о Бакуриани. Итоги совершеннолетия. VII, 39.
- Х. Бериулава.** Ты ведь знаешь... Из цикла «Тбилисские серенады»... 1. Среде непролазных городских урочищ. 2. От рассвета до рассвета. 3. Передо мной твоё окно раскрыто. II, 6.
- К. Бобохидзе.** Мужество. V, 19.
- Н. Браун.** Так пройти по следам... XII, 9.
- Н. Гурешидзе.** Новогодний тост. I, 2-я стр. обложки;
Видение шваба. Прошлой ночью. Белый Бакуриани. Листопад. Июнь. Мне постелите во дворе... Мгновение восхода. Тианети и горы... Вершина. XI, 9;
- И. Дадашидзе.** Душный рассвет в гостинице. VII, 32.
- Т. Джангулашвили.** Сулхан-Саба. XII, 8.
- С. Иснани.** Разгроми! V, 21.
- К. Каладзе.** Шофер такси. V, 18.
Думы. XII, 5.
- Ю. Карский.** Накануне юбилея. I, 72; Лесе Украинке. III, 12;
- М. Кахидзе.** К Родине. VI, 12.
- М. Квливидзе.** Когда по улицам ранним. V, 22.
- Н. Киласония.** Так кто же друг мне. VI, 12.
- И. Когония.** Когда друзей у человека много... Зимний день. Засуха. В полет, моя книга!.. II, 7.
- М. Кузини.** Странничный вечер. О чем кричат и знают петухи... Был я художник... Крашены двери голубой красной... Кони бьются, храпят в испуге. VII, 14.
- С. Куняев.** Чаквинское ущелье. Листья мечутся между машин... VII, 30.
- М. Лебанидзе.** Горькие мысли меня окружили толпой... I, 5.
Люблю грузина — вот и весь мой сказ. V, 21.
Была лоза плодоносящая... VI, 13.
- Г. Леонидзе.** Майское. V, 17.
- В. Леонович.** Из дневника. А. Межирову. Пушкин переводит Мицкевича. По сучку. Я рисовал нехитрую картинку... VII, 30.
- М. Луговская.** Желание. VII, 29.
- Г. Мазурин.** Из книги «Женщина». VII, 38.
Дорога. VIII, 6.
- Р. Маргиани.** В старости моей. Пробуждение. Камыш-Бурун. Нине Жгенти. XI, 7;
- Мариджан.** Как радует меня стихотворенье... VI, 10.
- М. Мачаварнани.** Когда меня вконец измучит мысль. V, 22.
Революция... Мысль. Еще и еще и еще ты стремишься... X, 8.
- А. Межиров.** Вновь подъем Чавчавадзе... Стон. Воскресное воспоминанье... VII, 27.
- З. Межирова.** Вдали шумит глухое море... Показалось — свет в окошке... Канатный ход. VII, 34.
- А. Мирцхулава.** Весною, когда пешеходные тропы... V, 18.
- М. Мрелишвили.** Наши дети. VI, 10.
- К. Надирадзе.** Любовь, предназначенная мне судьбой. Молчание полудня. Дождь. VIII, 5.
- Ш. Нишнианидзе.** Записная книжка. V, 23.
- И. Нонешвили.** Кахетия. V, 20.
Где только я не побывал... VI, 13.
Сотворение Грузии. X, 6.
- О. Панфилова.** Как сладок дружеский привет... VII, 34.
- Г. Петников.** Стоит наш дуб, как Демосфен... VII, 26.
- В. Полетаев.** Двенадцать стихотворений. VII, 35.
- Э. Портягин.** Встреча с Грузией. VII, 34.
- М. Поцхишвили.** Ножницы. I, 60.
Только песня. V, 24.
- В. Пшавела.** Орел. Бакури. Старый лев. IX, 5.

- Вопросы и ответы. Разъясните фиалке нежной. Пригляжусь я к себе. Для чего я жил на свете. X, 5;
В горах (Осенние картины). XI, 5;
- М. Рыльский.** К открытию музея Леси Украинки. III, 6.
- И. Сергеева.** Со стены подвала резко... VII, 33.
- В. Солоухин.** Грузия. VII, 27.
- Л. Стура.** Вдовы 1941. VI, 12.
- Л. Сулаберидзе.** Другьям моего сына. V, 21.
- Г. Табидзе.** Поэту-трибуну. V, 6. Отчизна. IX, 20.
- Н. Тихонов.** Старейшему поэту Грузии Саидро Шаншиашвили в год 50-летия Советской Грузии. II, 5. Из цикла «Грузия». V, 16. Сосны Пицунды. VII, 26.
- А. Флешин.** Пушкин. VII, 33.
- Ф. Халваши.** Протекает вода. Ванихеви. II, 8.
- А. Цыбулевский.** Золотая пыль. Что ты можешь знать заранее?.. На миг один перед глазами... Кораблик в море и в кафе серьга... VII, 37.
- Дж. Чарквиани.** Родина. Длинный коридор. Отрывок из поэмы. V, 22.
- С. Шаншиашвили.** Каждодневное — в вечное. Защитнику Ленинграда. V, 17.
- А. Шенгелия.** Мать — Грузия. V, 20.
- П. Яшвили.** Письмо к Колау Надирадзе из Москвы. VIII, 6.

ПРОЗА

- Л. Авалиани.** Скошенная трава. VI, 54.
- А. Гацерепа.** Один день имама. VIII, 90.
- А. Гецадзе.** Святые в аду. IX, 22; X, 9; XI, 27; XII, 16.
- Г. Гогичайшвили.** Ясный, чистый ручей. Мать Арчила. Внук бабушки Бабинэ. Играть в войну. XII, 37.
- М. Джавахишвили.** Мститель. VIII, 8;
- Т. Донжавили.** Гонджаура. IV, 41; V, 40; VI, 34;
- Н. Думбадзе.** Не бойся, мама! I, 6; II, 9; III, 13; IV, 26; V, 25; VI, 14; VII, 42;
- Д. Квицаридзе.** Леван Кахиани. VIII, 14; IX, 36; X, 22; XI, 12; XII, 33.
- В. Осинский.** Фиалка со старой горы. VII, 39;
- Т. Пирвели.** Юморески. VIII, 34.
- Г. Чиковани.** Февраль. XII, 11.
- С. Чилая.** Екатерина Чавчавадзе. I, 14; II, 19; III, 20.

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- А. Абрамишвили.** 19-й экземпляр Вахтанговского издания «Витязя в тигровой шкуре». VII, 72.
- Г. Авалиани.** Герои рассказов — защитники Родины. VIII, 40.
- К. Гамсахурдиа.** Важа Пшавела. II, 35.
- А. Гацерепа.** Данте и пренсторическая Грузия. IV, 52.
- Г. Гвердители.** Правда времени. IX, 50; X, 46;

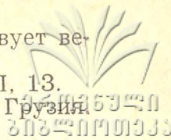
- У. Гуральник.** Поэт истинно народный. XI, 49.
- Е. Евтушенко.** Скорморох и богатырь. VII, 24.
- Е. Ермилова.** Михаил Кузнецов. VII, 114-115
- Б. Жгенти.** «Родина моя, с тобою мои думы». VII, 59.
- М. Заверин.** Спутники связи. III, 42. Внимая гуламу эпохи... XII, 78.
- А. Зурабшвили.** Персоналогические проблемы в творчестве Ильи Чавчавадзе. V, 58.
- Г. Каландадзе.** Ладо Асатиани. V, 60.
- Л. Каландадзе.** Где столько земли... IX, 7.
- М. Кораллов.** О Михаиле Светлове. I, 26.
- Г. Маргвелашвили.** Слушая революцию. (Из очерка о Галактионе Табидзе) II, 37; III, 37; С бурей и веком в лад. X, 36.
- Б. Мчедлидзе.** «Я Тбилиси люблю...». VI, 63.
- Г. Натрошвили.** Рассказы о море и рыбаках. IV, 51.
- В. Оскоцкий.** Близкая земля Одиши. XI, 43;
- Ш. Порчхидзе.** Слово, идущее от сердца. I, 33;
- Ш. Радиани.** Георгий Леонидзе. XII, 42.
- Н. Цховребов.** Из истории поэтического перевода. II, 69.
- Ш. Чичуа.** Главная тема — современность. VI, 59.
- П. Шария.** К одному из коренных вопросов мировоззрения Руставели. XII, 47.

К 50-ЛЕТИЮ ГРУЗИНСКОЙ ССР И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ГРУЗИИ

- А. Барамидзе.** Литературоведение в Советской Грузии. V, 9.
- С. Красовский.** В боях за Советское Закавказье. II, 44; III, 47;
- Г. Мартыненко.** Штурм Годердзского перевала. VIII, 61.
- Р. Николадзе.** Незабываемые дни и мгновенья. IV, 60.
- В. Пластун.** Грузинские революционеры в иранской революции 1905—1911 гг. IV, 63.
- Д. Г. Стура.** Коммунистическая партия Грузии в борьбе за установление Советской власти. I, 42.
- Н. Тихонов.** Письмо к другу. II, 5.
- Ш. Чануквадзе.** Писатель создает художественную летопись нашей жизни. V, 5.
- З. Л. Швелидзе.** Грузинская и закавказская молодежь во «Всероссийской социал-революционной организации» (1874—1876). IV, 69; V, 76;

50-ЛЕТИЕ АБХАЗСКОЙ АССР

- А. Аджинджал.** Когда тоска в душе зашевелится... IV, 7.



- Д. Ахуба. Возвращение. IV, 8.
- П. Беба. Я помню. IV, 7.
- А. Джонуа. Четыре года мне с друзьями... IV, 5.
- Н. Квициния. Пустыней тихою легли за мной века... IV, 8.
- К. Ломиа. Апсны. IV, 6.
- И. Тарба. Это небо, вместившее синеву. Мой мир. IV, 5, 6.
- Ш. Цвижба. В лесу. IV, 6.
- О. Чургулия. Страница дружбы. IV, 12.
- В. Шинкуба. Слово. IV, 5.

50-ЛЕТНИЕ ЮГО-ОСЕТИНСКОЙ АО

- Р. Асаиты. Дзимир. IV, 18.
- Г. Бестауты. Моему потомку. IV, 19.
- Гафез. Граб. IV, 17.
- Н. Джусойты. Ночь на леднике. IV 18.
- Г. Дзугаты. Я как солнечный зайчик. IV, 17.
- Х.-М. Дзущати. Когда я буду умирать. Яркая и самобытная, IV, 19, 22.
- Кавказга. Небесный всадник. IV, 17.
- И. Козаты. Матери. IV, 21.
- К. Маргиты. Ищу свою молодость. IV, 19.
- С. Миндиашвили. Мост. IV, 21.
- И. Плиты. Эти две руки. IV, 20.
- А. Пухаты. Слово о Ленине. IV, 20.
- Л. Харебаты. Еще одна звезда упала... IV, 21.
- З. Хостикоты. Я—женщина! IV, 20.

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

- В. П. Мжаванадзе. Наш человек с ружьем. VI, 5.
- Г. Ф. Одинцов. 54-я армия. V, 50.
- Г. Пайчадзе. Воины-грузины в боях за Украину. V, 56.
- Н. Г. Кузнецов. От Ялты до Потсдама. VI, 73.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ

- Е. Азизян. Николай Заболоцкий и Грузия. III, 83.
- И. Богомолов. Русская тема в творчестве Важа Пшавела. IX, 14.
- Г. Гачечиладзе. Леся Украинка говорит по-грузински. III, 7.
- Г. Гвенетадзе. Признательность младшего современника. IV, 74.
- Г. Гиголов. Литературно-общественная борьба вокруг пьесы М. Горького «Мещане». VIII, 53; IX, 56;
- О. Гончар. Будут знать о вольнянке и восток и запад. III, 5.
- И. Кенчошвили. Книга о грузинско-индийских взаимоотношениях. VIII, 60.
- В. Лавров. Рукопожатие через век. VII, 7;
- В. Лаперашвили. Здесь жил Сергей Есенин. XII, 91.

- Г. Маргвелашвили. «Свидетельствует веший знак...». VII, 5.
- А. Межиров. Думая о поэтах. VII, 13.
- О. Новицкий. Леся Украинка и Грузия. III, 8.
- Г. Цицишвили. Ованес Туманян и грузинская общественность. V, 68. Некрасов и грузинская общественность. XII, 84.
- Л. Чертков. О Мирском. VII, 12.

ПУБЛИЦИСТИКА

- Н. Джаши. Актуальные проблемы эстетического воспитания. II, 58; III, 73;
- В. Донадзе, Г. Кигурадзе. Парижская коммуна и грузинская общественная мысль второй половины XIX века. III, 76.
- В. Мачавариани. Нация, ее культура и язык. VI, 66; VII, 77.
- В. Сигуа. Воспитывать строителей новой коммунистической цивилизации. VIII, 44.

ОЧЕРК

- Г. Абашидзе. На далеких Филиппинах. I, 53.
- А. Келенджеридзе. В стране Антима. VIII, 49.
- Н. Микава. Колхида. II, 69; III, 68;

ИСКУССТВО

- А. Агладзе. О тех, кто с нами. II, 53; III, 56;
- Н. Аладшвили. Краски и мастерство. XI, 55;
- М. Дудучава. Якоб Николадзе. I, 61; II, 48; III, 50;
- Э. Думбадзе. Батуми. Гастрольное лето пятьдесят четвертого года. VII, 95. «Гамлет», в балете воплощенный... IX, 78.
- М. А. Мазманиян, Р. А. Гаспарян. Сюжет—музыка—танец. XI, 61.
- Д. Мирский. Нико Пиросманишвили. VII, 11.
- А. Тоидзе. Встречи, которых не забыть. III, 61.
- В. Челидзе. Захарий Палиашвили. XII, 59.
- Г. Шарадзе. Неизвестные работы Михая Зичи. VIII, на вклейке.

ВОПРОСЫ ЭСТЕТИКИ

- А. Бочоришвили. Основная проблема эстетики. VI, 79; VII, 83;
- М. Дудучава. Об эстетической сущности искусства. IX, 63; X, 53;

ВСТРЕЧИ И ВОСПОМИНАНИЯ

- С. Дурмишидзе. Встреча Опарина с Валерием Брюсовым. V, 82.

А. Схиртладзе. Таким я видел и знал его. VI, 94.

М. Цветаева. Нездешний вечер. VII, 17.

Б. Черный. Связь времен (О жизни и творчестве Анны Антоновской). I, 73; II, 87; III, 91; VIII, 78; IX, 83, X, 81;

НАУКА

Р. Гамбашидзе, М. Чабашвили. Новый центр изучения Важа Пшавела. IV, 86.

П. Гугушвили. Социальное планирование народного хозяйства. VI, 85; VII, 89.

И. Данилюк, Р. Кордзадзе. Служение народу и науке. III, 63.

КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

П. Ингороква. Шота Руставели (1166—1250). X, 65; XI, 73; XII, 62.

ЖИЗНЬ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ

Э. Маградзе. Поэт-воин. I, 83; II, 74; V, 84; VIII, 68; IX, 93; X, 92; XI, 87.

Н. Надибаидзе. Александр Арчилович Багратиони. II, 82.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Г. Абашидзе. Слово другу. VI, 90.

А. Глонти. Выдающийся исследователь грузинского фольклора (К 60-летию Ксенни Сихарулидзе). IV, 81.

Н. Гурабанидзе. Верность театру. (К 70-летию со дня рождения Додо Антадзе). III, 87.

ОТ РЕДАКЦИИ:

В № 11 за 1971 г. стихи Н. Гурешидзе даны в переводах Юрия Ряшенцева, за исключением стихотворения «Тианети и горы...».

Д. Джанелидзе. Неутомимый Додо. III, 90.

К. Каладзе. Приветствую абхазского поэта. VI, 90.

Г. Цицишвили. Боевое слово. (К 60-летию Дмитрия Бенашвили). IV, 84.
Поэт, гражданин, патриот. VI, 91.

В МИРЕ КНИГ

Г. Гамсахурдиа. О проблемах развития национальной культуры. VIII, 95.

Д. Джанелидзе. Ценная книга по истории режиссуры. XI, 64.

З. Жвания. Красный губернатор. I, 94.

Ш. Радиани. Верность дружбе. II, 95.

Н. Сорокин. Образ героя гражданской войны Киквидзе в зарубежном романе. XII, 92.

Н. Стуруа. Первая книга по историографии победы социалистической революции. V, 94.

З. Тухарели. Художественный перевод: итоги и новые задачи. IV, 91.

А. Устиашвили. «По трудному пути». IV, 94.

А. Шариф. А. М. Горький и народы Закавказья. XI, 67.

СПОРТ

В. Элашвили. Чидаоба. Из истории грузинского народного спорта. IV, 88.

НЕКРОЛОГ

Памяти А. Джапаридзе. IV, 96.
Алио Мирцхулава (Машашвили). XI, 96.

Сдано в производство 2 ноября 1971 г. Подписано к печати 14 декабря 1971 г.
6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆.

Цена 40 коп.



ИНДЕКС
76117

Дорогие читатели!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

НА ЖУРНАЛ

**„Литературная
Грузия“!**

СТАТЬ НАШИМ ПОДПИСЧИКОМ ВЫ
МОЖЕТЕ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА, ОБРА-
ТИВШИСЬ В БЛИЖАЙШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
«СОЮЗПЕЧАТИ».

ПОМНИТЕ, ЧТО В РОЗНИЧНУЮ ПРО-
ДАЖУ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ» ПО-
СТУПАЕТ В ОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕ-
СТВЕ!



საქ. კვ ტკ-ის გამომცემლობა
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ